ИВАНОВЪ-РАЗУМНИКЪ

ИСТОРІЯ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

I

ОТЪ РАДИЩЕВА ДО ДЕКАБРИСТОВЪ

П. Т. Г.
1918.

А. А.

РЕВОЛЮЦIОННАЯ

МЫСЛЬ

ИВАНОВЪ РАЗУМНИКЪ

ИСТОРІЯ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

ЧАСТЬ I

ИЗД. 5-ое
ПЕРЕРАБОТАННОЕ

ИЗД. Т-ВО
РЕВОЛЮЦІОННАЯ МЫСЛЬ

ИВАНОВЪ РАЗУМНИКЪ

ОТЪ РАДИЩЕВА ДО ДЕКАБРИСТОВЪ

ИСТОРІЯ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

П. Т. Г.
1918

СОДЕРЖАНІЕ.

Тип. «Сѣверъ», Петроградъ, Невскій пр., 140-2.

Отъ автора.

Исторія русской общественной мысли есть исторія русской интеллигенціи: этой формулой яснѣе всего опредѣляется содержаніе настоящаго изслѣдованія. Прослѣдить съ наиболѣе общей точки зрѣнія за послѣдовательнымъ развитіемъ общественныхъ, этическихъ и эстетическихъ воззрѣній, преемственно связанныхъ между собою и образующихъ непрерывный рядъ находящихся въ логической связи міровоззрѣній и «міровоздѣйствій»—это значитъ составить исторію русскаго сознанія, исторію русской общественной мысли; прослѣдить за послѣдовательнымъ развитіемъ и развѣтвленіемъ различныхъ общественныхъ группъ, въ которыхъ безпрерывно совершается процессъ выработки опредѣленныхъ міровоззрѣній—это значитъ составить исторію русской интеллигенціи. Такова внутренняя сущность и внѣшняя форма содержанія предлагаемой работы.

Подробная разработка намѣченной здѣсь задачи могла бы умѣститься только въ многотомномъ изслѣдованіи, для котораго время еще не настало. Размѣрами настоящаго труда объясняется краткость нѣкоторыхъ характеристикъ воззрѣній даже выдающихся представителей русской интеллигенціи; но краткость эта не является спутницей недоговоренности, такъ

какъ возможно большая опредѣленность и доказательность выводовъ всегда ставились авторомъ на первое мѣсто.

Не претендуя на полноту изслѣдованія, авторъ тѣмъ въ большей степени не претендуетъ и на объективность его. Читатели сами увидятъ, какой изъ современныхъ общественныхъ группъ принадлежатъ всѣ симпатіи автора, которому было трудно—если не невозможно—избѣжать субъективнаго освѣщенія изучаемыхъ фактовъ изъ жизни русской интеллигенціи. Изучать эти факты sub specie aeterni, съ полнымъ научнымъ безстрастіемъ—еще не пришла пора; но если читатель не найдетъ въ этой книгѣ мертваго *безстрастія*, то, быть можетъ, онъ отдастъ справедливость желанію автора—достичь полнаго *безпристрастія*, руководствуясь которымъ авторъ одновременно и подчеркивалъ сильныя стороны враждебныхъ его основной точкѣ зрѣнія міровоззрѣній и вскрывалъ слабыя стороны міровоззрѣній особенно ему близкихъ и дорогихъ.

ВВЕДЕНІЕ.

I.

Что такое интеллигенція?

«Интеллигенція есть органъ сознанія общественнаго организма»—такъ въ добрыя, старыя времена опредѣляла значеніе интеллигенціи такъ называемая органическая теорія общества, въ настоящее время окончательно отвергнутая; тѣмъ не менѣе мы всецѣло принимаемъ такое опредѣленіе, обращая однако вниманіе не на его неудачную внѣшнюю форму, а на его глубокій внутренній смыслъ. Исторія русской интеллигенціи есть исторія русскаго сознанія именно потому, что первая является носительницей второго. Глубоко правъ по существу дѣла былъ И. Аксаковъ, опредѣлявшій интеллигенцію, какъ «самосознающій народъ», и указывавшій, что интеллигенція «не есть ни сословіе, ни цехъ (мы бы прибавили теперь: ни классъ), ни корпорація, ни кружокъ... Это даже не собраніе, а совокупность живыхъ силъ, выдѣляемыхъ изъ себя народомъ»...

Интеллигенція есть органъ народнаго сознанія, интеллигенція есть совокупность живыхъ силъ народа... Мы принимаемъ эти опредѣленія, но въ то же самое время не можемъ не отмѣтить ихъ неопредѣленности; эти вѣрныя, но расплывчатыя формулы нуждаются въ болѣе рѣзкомъ отграниченіи и ограни-

ченіи. Въ чемъ выражается народное сознаніе? въ чемъ сказываются живыя силы народа?—вотъ вопросы, на которые прежде всего нужно отвѣтить; необходимо ограничить терминъ «интеллигенція» вполнѣ опредѣленными рамками, отграничить его отъ сосѣднихъ понятій ясно проведенной линіей. Иначе говоря, надо прежде всего найти основные признаки опредѣляемаго нами понятія.

Первымъ и главнымъ изъ этихъ признаковъ является слѣдующій: интеллигенція есть прежде всего опредѣленная общественная *группа*; этотъ признакъ даетъ возможность установить исходный пунктъ исторіи интеллигенціи, и, въ связи съ послѣдующими признаками, опредѣлить время зарожденія русской интеллигенціи, точку начала ея исторіи. Этотъ признакъ указываетъ на существенное различіе между отдѣльными «интеллигентами» и интеллигенціей, какъ группой. Отдѣльные «интеллигенты» существовали всегда, интеллигенція появилась только при органическомъ соединеніи отдѣльныхъ интеллигентовъ въ цѣльную, единую группу. Люди, характеризуемые опредѣленной суммой выработанныхъ трудомъ знаній или опредѣленнымъ отношеніемъ къ основнымъ этико-соціологическимъ вопросамъ, всегда существовали и всегда будутъ существовать, но они еще не образуютъ собою интеллигенціи, какъ группы. Такъ, напримѣръ, отдѣльными русскими «интеллигентами» были въ XVI вѣкѣ князь Курбскій, Иванъ Грозный, Θеодосій Косой, этотъ типичный русскій анархистъ; въ XVII вѣкѣ—Матвѣевъ, Котошихинъ, Хворостининъ; въ началѣ XVIII—Петръ I, Татищевъ, Ломоносовъ и т. п.; однако ни въ шестнадцатомъ, ни въ семнадцатомъ, ни въ восемнадцатомъ вѣкѣ въ Россіи не было интеллигенціи, какъ опредѣленной соціальной группы. Точно такъ же и въ настоящее время могутъ быть отдѣльные «интеллигенты», обладающіе

высокой суммой выработанныхъ трудомъ знаній, но не входящіе въ группу интеллигенціи; мы увидимъ ниже, что ученѣйшій академикъ и профессоръ можетъ не принадлежать къ интеллигенціи въ принимаемомъ нами смыслѣ этого слова; по вѣрному замѣчанію Лаврова терминъ «интеллигенція» отнюдь не связанъ съ понятіями о какихъ бы то ни было профессіяхъ. Къ группѣ интеллигенціи можетъ принадлежать полуграмотный крестьянинъ, и никакой университетскій дипломъ не даетъ еще права его обладателю причислять себя къ ней. Ниже мы еще остановимся на этомъ вопросѣ, а теперь прослѣдимъ дальше, каковы слѣдующіе основные признаки изслѣдуемаго нами понятія.

Итакъ, интеллигенція есть опредѣленная общественная *группа*; это условіе необходимое, но еще не достаточное для характеристики понятія «интеллигенція». Подобно тому, какъ всегда существовали отдѣльные «интеллигенты», такъ же точно всегда существовали и тѣсно сплоченныя группы наиболѣе образованныхъ людей своего времени, объединенныя или солидарностью программъ, или солидарностью дѣйствій. Такъ, напримѣръ, въ Россіи въ XV вѣкѣ были группы «интеллигентовъ» своего времени, объединенныя съ одной стороны вокругъ Нила Сорскаго, съ другой — вокругъ Іосифа Волоцкаго; всѣ религіозныя разнорѣчія послѣдующихъ вѣковъ русской жизни всегда концентрировались въ тѣхъ или иныхъ группахъ, объединенныхъ той или иной идеей. Такимъ же образомъ и политическія разногласія дифференцировали русскихъ людей на отдѣльныя группы; такъ, напримѣръ, уже съ XVI вѣка начинается ясно выраженное западническое теченіе въ опредѣленной группѣ «интеллигентовъ»; такъ, мы имѣемъ партію приверженцевъ Максима Грека; въ началѣ XVII вѣка видимъ такъ называемую польскую партію среди бо-

яръ (Салтыковы), далѣе, имѣемъ кіевскую школу, наконецъ, въ началѣ XVIII вѣка видимъ группу шляхетства и кружокъ Татищева. Но однако, несмотря на все это, мы не можемъ начать исторію русской интеллигенціи, какъ соціальной группы, ни съ Нила Сорскаго, ни съ Ломоносова, ни съ Татищева, ни съ Петра Могилы: всѣ эти отдѣльныя, разрозненныя группы не связаны другъ съ другомъ тѣсной преемственностью—ни логической, ни хронологической; это отдѣльные эпизоды, крайне важные для исторіи русской культуры, но не имѣющіе отношенія къ исторіи русской интеллигенціи.

Итакъ, вотъ второй основной признакъ интеллигенціи—*преемственность*; интеллигенція есть группа преемственная, или, говоря языкомъ математики, она есть функція непрерывная. Такая группа русской интеллигенціи существуетъ съ середины XVIII вѣка; съ тѣхъ поръ, со временъ Новикова, Фонвизина и Радищева, русская интеллигенція живетъ уже полтораста лѣтъ; она растетъ, развивается, она иногда дѣлится на подгруппы, но ея развитіе—непрерывно, она какъ группа — преемственна. Одна общая идея (какая — мы увидимъ ниже) связываетъ эту группу въ непрерывное цѣлое; кромѣ того, независимо отъ этой общей идеи, русскую интеллигенцію съ середины XVIII вѣка связываетъ общее дѣйствіе—борьба за освобожденіе. Эта вѣковая, эпическая борьба спаяла русскую интеллигенцію въ одну массу, обладающую невѣроятной силой сопротивленія; эта борьба закалила русскую интеллигенцію, какъ огонь закаляетъ сталь; эта борьба выковала изъ русской интеллигенціи такое оружіе, какого нѣтъ и не можетъ быть въ иныхъ странахъ, у другихъ народовъ.

Опредѣливъ интеллигенцію, какъ группу преемственную, мы этимъ самымъ поставили историческіе предѣлы нашему изслѣдованію: исторія русской ин-

теллигенціи ведетъ свое начало отъ группы, впервые поставившей своимъ девизомъ борьбу за народное освобожденіе; отъ группы, сперва безсознательно, потомъ и сознательно поставившей своей цѣлью политическую, соціальную и духовную революцію.

Вторая половина XVIII вѣка послужила только предисловіемъ къ этой исторіи, которую лишь XIX вѣкъ развернулъ во всей ея широтѣ. Изученію этого вопроса посвящена исторія русской общественной мысли, но, и не приступивъ къ ея подробному изученію, мы заранѣе можемъ указать еще на два характерныхъ признака русской интеллигенціи: это ея *внѣсословность и внѣклассовость.*

Эти два признака, между прочимъ, уже окончательно отдѣляютъ преемственную группу интеллигенціи отъ существовавшихъ ранѣе религіозныхъ или политическихъ общественныхъ группъ въ Россіи: всѣ эти группы были или сословными, или классовыми. Впервые интеллигенція XVIII вѣка сумѣла отречься отъ классовыхъ интересовъ и тѣмъ самымъ, будучи сословной по составу, оказаться внѣсословной по намѣченнымъ цѣлямъ. Группа общественныхъ дѣятелей съ Новиковымъ во главѣ и съ Радищевымъ въ видѣ эпилога, бывшая зерномъ русской интеллигенціи, была по своему составу дворянско-землевладѣльческой, т.-е. сословно-классовой; однако классовые, т.-е. въ данномъ случаѣ землевладѣльческіе интересы приносились этой группой въ жертву общему идеалу; сословныя цѣли выбрасывались за бортъ міровоззрѣнія. Будучи въ это время сословной и классовой по составу, русская интеллигенція въ то же время была глубоко внѣклассовой и внѣсословной по намѣченнымъ задачамъ, по исповѣдуемымъ идеаламъ. Конечно, эта «сословность» не могла не отразиться на міровоззрѣніи; разумѣется, вліяніе класса не могло не сказаться на взглядахъ самыхъ передовыхъ людей; но дѣло не въ частностяхъ

міровоззрѣнія, а въ общей его тенденціи, а съ этой точки зрѣнія даже ярко сословно-классовые декабристы были, какъ мы увидимъ, дѣйствительно внѣклассовы и внѣсословны.

Въ началѣ XIX вѣка русская интеллигенція была рѣзко-сословной по составу, но въ то же самое время она еще рѣзче порывала всякія связи со своими сословными интересами; недаромъ 14-го декабря 1825 г. русскіе аристократы и крупные землевладѣльцы пытались произвести такой переворотъ, который прежде всего—и они это сознавали—обрушился бы ударомъ на ихъ же классъ, на ихъ же сословіе. Послѣ 1825 года русская интеллигенція остается сословной по составу и внѣсословной по цѣлямъ и задачамъ; однако съ этихъ поръ сословный составъ интеллигенціи становится правиломъ съ исключеніями, и притомъ съ такими исключеніями, какъ Полевой, Надеждинъ, Бѣлинскій. Правда, «ласточка одна не дѣлаетъ весны», но она предвѣщаетъ ее; въ шестидесятыхъ годахъ огромной толпою «разночинецъ пришелъ», пришелъ и сталъ въ первыхъ рядахъ русской интеллигенціи. Съ этихъ поръ русская интеллигенція становится внѣсословной и внѣклассовой не только по задачамъ, цѣлямъ, идеаламъ, но и по своему составу; въ это же время—и это, конечно, не случайное совпаденіе—возникаетъ самый терминъ «интеллигенція» въ современномъ смыслѣ этого слова.

Интеллигенція есть 1) *внѣклассовая*, 2) *внѣсословная*, 3) *преемственная* 4) *группа*—этими четырьмя формальными признаками опредѣляется строеніе интеллигенціи, обозначается граница съ сосѣдними понятіями. Но тутъ же надо подчеркнуть, что всѣ эти четыре признака вмѣстѣ взятые составляютъ только необходимое, но отнюдь не достаточное условіе, опредѣляющее интеллигенцію. Мы увидимъ нѣсколько ниже, что существуетъ еще одна группа, характеризуемая

также преемственностью, внѣклассовостью и внѣсословностью, но въ то же время діаметрально-противоположная интеллигенціи; нѣсколькими страницами ниже мы опредѣлимъ эту группу условнымъ терминомъ «мѣщанства», соединяя этимъ терминомъ въ одну преемственную группу людей внѣ сословій и внѣ классовъ по ихъ духовному уровню, по отсутствію въ нихъ яркой индивидуальности, по узости и плоскости ихъ міровоззрѣнія. Теперь намъ достаточно только въ самыхъ общихъ чертахъ указать на то, что если соціологически интеллигенція есть преемственная, внѣсословная, внѣклассовая группа, то этически она есть прежде всего группа а н т и-м ѣ щ а н с к а я. Впервые эту мысль высказалъ въ русской литературѣ Лавровъ; въ виду того, что онъ же первый опредѣлилъ и понятіе «интеллигенціи», мы нѣсколько подробнѣе остановимся на этомъ, въ общемъ, вполнѣ вѣрномъ рѣшеніи Лаврова.

Лавровъ не употребляетъ термина «интеллигенція», но вкладываетъ то же самое понятіе въ столь осмѣянное съ тѣхъ поръ и столь невѣрно понятое выраженіе—«критически мыслящія личности». Принято почему-то предполагать, что «критически мыслящая личность» это—«герой», вождь толпы, дѣятель, творящій исторію по собственному вкусу и желанію, направляющій ея ходъ по принципу: «car telle est notre bonne volonté»... Ничто не можетъ быть ошибочнѣе подобнаго пониманія, такъ какъ терминологія Лаврова имѣетъ только въ виду необходимость яснаго отграниченія и даже суженія расплывчатаго термина «интеллигенція». Подъ интеллигенціей, вообще говоря, готовы понимать, какъ это мы уже указывали выше, сумму лицъ, характеризуемыхъ опредѣленнымъ уровнемъ знанія: отождествляютъ всякаго «образованнаго» человѣка съ представителемъ интеллигенціи, забывая, что никакіе дипломы не сдѣлаютъ еще сами по себѣ

«образованнаго» человѣка «интеллигентнымъ». Еще чаще готовы понимать подъ интеллигенціей всю «цивилизованную» или всю «культурную» часть общества, въ то время какъ культурность, подобно образованности, есть только внѣшній формальный признакъ, не опредѣляющій внутренняго содержанія. Это Лавровъ подчеркивалъ особенно настойчиво, проводя рѣзкую, раздѣлительную линію между культурой и цивилизаціей. Мы вкратцѣ напомнимъ читателямъ эту теорію, изложенную Лавровымъ въ его знаменитыхъ «Историческихъ письмахъ».

Не всякій говорящій «Господи! Господи!» войдетъ въ царство небесное, не всякій «культурный» человѣкъ войдетъ въ группу критически мыслящихъ личностей, т.-е. въ группу интеллигенціи. Культура, говоритъ Лавровъ, это—«зоологическій элементъ въ жизни человѣчества», и только критическая работа мысли на почвѣ культуры обусловливаетъ собою цивилизацію: «какъ только работа мысли на почвѣ культуры обусловила общественную жизнь требованіями науки, искусства, нравственности, то культура перешла въ цивилизацію и человѣческая исторія началась». Но многое изъ того, что для предыдущаго поколѣнія является результатомъ труда критической мысли, для послѣдующаго поколѣнія оказывается уже привычнымъ «зоологическимъ элементомъ»; такимъ образомъ «часть цивилизаціи отцовъ въ формѣ привычекъ и преданій составляетъ не что иное, какъ зоологическій культурный элементъ въ жизни потомковъ, и надъ этою привычною культурою второй формаціи должна критически работать мысль новаго поколѣнія, чтобы общество не предалось застою, чтобы въ числѣ унаслѣдованныхъ привычекъ и преданій оно разглядѣло тѣ, которыя представляютъ возможность дальнѣйшей работы мысли на пути истины, красоты и справедливости, отбросило остальное, какъ отжившее, и создало

новую цивилизацію, какъ новый строй культуры, оживленный работою мысли»... И такъ повторяется въ каждомъ поколѣніи; въ такомъ послѣдовательномъ замѣщеніи культуры цивилизацией и заключается задача прогресса. «Культура общества есть среда, данная исторіею для работы мысли... Мысль есть единственный дѣятель, сообщающій человѣческое достоинство общественной культурѣ. Исторія мысли, обусловленной культурою, въ связи съ исторіею культуры, измѣняющейся подъ вліяніемъ мысли — вотъ вся исторія цивилизаціи»...

Конечно, насъ не можетъ удовлетворить подобное типично-раціоналистическое построеніе, характерное для эпохи шестидесятыхъ годовъ, не говоря уже о томъ, что устарѣлая терминологія Лаврова совершенно непріемлема. Однако условное пониманіе вышеприведеннаго противопоставленія культуры и цивилизаціи приводитъ насъ къ совершенно незыблемому выводу — къ невозможности отождествлять «культурнаго» человѣка съ «критически мыслящей личностью»: первое понятіе шире второго, и далеко не всякій «культурный» и образованный человѣкъ является представителемъ интеллигенціи. Доказывая это, Лавровъ подчеркиваетъ, что ни одна наиболѣе «культурная» профессія не даетъ еще патента на «интеллигентность». «Профессора и академики — говоритъ Лавровъ — сами по себѣ, какъ таковые, не имѣли и не имѣютъ ни малѣйшаго права причислять себя къ интеллигенціи... Иной авторъ многочисленныхъ ученыхъ трудовъ можетъ оставаться фетишистомъ культурнаго быта, тогда какъ далеко выше его въ этой интеллигенціи стоитъ какой-нибудь полуграмотный ремесленникъ, работающій въ немногіе часы досуга надъ своимъ развитіемъ... Ни многочисленные экзамены, ни оффиціальные дипломы не даютъ ей (русской молодежи) еще права считать

себя принадлежащей къ интеллигенцiи, которая воплощаетъ русскую идейную жизнь... Лишь по недоразумѣнiю можно отнести къ армiи интеллигенцiи служителей культурныхъ фетишей»... («Изъ рукописей 90-хъ годовъ»). Иначе говоря, Лавровъ исключаетъ изъ группы критически мыслящихъ личностей культурныхъ *мѣщанъ*, которымъ онъ даетъ характерное наименованiе «дикарей высшей культуры». Эти дикари высшей культуры образуютъ громадное большинство образованнаго общества, они встрѣчаются всюду, на каждомъ шагу: «они располагаютъ капиталами, они образуютъ главную долю общественнаго мнѣнiя, они составляютъ большинство въ коллективныхъ управленiяхъ и въ законодательныхъ собранiяхъ, они руководятъ не малой долей прессы, они имѣютъ мѣста и на каѳедрахъ университетовъ, и въ ученыхъ обществахъ, и въ академiяхъ»... Нѣсколько ниже, когда мы подробнѣе формулируемъ наше пониманiе «мѣщанства», мы увидимъ, что все предыдущее даетъ слѣдующiй отрицательный признакъ опредѣляемаго нами понятiя: въ группу интеллигенцiи не входятъ духовные мѣщане. Это отрицательное опредѣленiе завершаетъ отграниченiе и ограниченiе понятiя интеллигенцiи.

Въ концѣ концовъ мы пришли къ слѣдующему результату: интеллигенцiя, опредѣляемая соцiологически, какъ внѣсословная, внѣклассовая, преемственная группа, характеризуется этически, какъ группа анти-мѣщанская. Однако и это опредѣленiе оказывается недостаточнымъ, какъ построенное на отрицательномъ признакѣ. Попробуемъ выяснить положительные признаки внутренняго содержанiя этого понятiя. Очевидно, что здѣсь однихъ формальныхъ признаковъ окажется недостаточно, ибо нѣтъ никакихъ формальныхъ признаковъ, позволяющихъ отличить прогрессивное отъ реакцiоннаго. Здѣсь мы

снова возвращаемся къ Лаврову, такъ какъ доказательству только что формулированной мысли посвящено девятое изъ «Историческихъ писемъ» Лаврова, и такъ какъ мысль эта всецѣло приложима къ поставленной нами проблемѣ интеллигенціи. «Если допустить—замѣчаетъ Лавровъ,—что прогрессъ заключается именно въ развитіи личности и въ воплощеніи истины и справедливости въ общественныя формы, то вопросъ... о признакахъ прогрессивной и реакціонной партіи рѣшить уже гораздо труднѣе, такъ какъ внѣшнихъ, отличительныхъ признаковъ для нихъ вовсе не оказывается»... Ибо «никакое слово не имѣетъ за собою привилегіи прогресса; онъ не втиснулся ни въ одну формальную рамку. Ищите за словомъ его содержаніе. Изучайте условія даннаго времени и данной общественной формы». Мы попытаемся поэтому нѣсколько ниже вскрыть содержаніе исторіи русской интеллигенціи, а теперь возвратимся снова къ формальнымъ признакамъ этого содержанія. Здѣсь мы опять встрѣчаемся съ Лавровымъ.

Казалось бы, что самъ Лавровъ далъ выше вполнѣ опредѣленную формулу, позволяющую сразу указать на вполнѣ опредѣленный признакъ, характеризующій интеллигенцію: «культурный» человѣкъ, *перерабатывающій* орудіемъ мысли старую культуру въ новую цивилизацію, является критически мыслящей личностью; такимъ образомъ *творчество* мысли являлось бы характернымъ положительнымъ признакомъ. Но это не такъ, или, вѣрнѣе, не совсѣмъ такъ, и самъ Лавровъ неоднократно подчеркивалъ, что творчество—необходимое, но не достаточное условіе, характеризующее принадлежность къ группѣ интеллигенціи (см. пятое изъ его «Историческихъ писемъ»). По совершенно вѣрному указанію Лаврова,

литература, искусство, наука—эти главныя области творчества—«не заключаютъ и не обусловливаютъ сами по себѣ прогресса. Они доставляютъ лишь для него орудія. Они накопляютъ для него силы. Но лишь тотъ литераторъ, художникъ или ученый дѣйствительно служитъ прогрессу, который сдѣлалъ все, что могъ, для приложенія силъ, имъ пріобрѣтенныхъ, къ распространенію и укрѣпленію цивилизаціи своего времени; кто боролся со зломъ, воплощалъ свои художественные идеалы, научныя истины, философскія идеи, публицистическія стремленія въ произведенія, жившія полною жизнью его времени, и въ дѣйствія, строго соотвѣтственныя количеству его силъ»... Иными словами: для интеллигенціи характеренъ не актъ *творчества* самого по себѣ, но главнымъ образомъ *направленіе* этого творчества и *активность* въ достиженіи; сами же по себѣ ни наука, ни искусство «не составляютъ прогрессивнаго процесса..., ни талантъ, ни знаніе не дѣлаютъ еще. сами по себѣ, человѣка двигателемъ прогресса»... Итакъ, основнымъ положительнымъ признакомъ критически мыслящихъ личностей является, по Лаврову, творчество новыхъ формъ и идеаловъ, но творчество, направленное къ опредѣленной цѣли и активное въ достиженіи ея. Цѣлью творчества является претвореніе историческаго процесса въ прогрессъ, который опредѣлялся Лавровымъ какъ физическое, умственное и нравственное развитіе личности, при воплощеніи истины и справедливости въ общественныя формы. Согласно этому опредѣленію, критически мыслящія личности характеризуются творчествомъ и активнымъ проведеніемъ въ жизнь новыхъ формъ и идеаловъ, направленныхъ къ самоосвобожденію личности.

Конечно, мы не предлагаемъ принять теорію Лаврова во всей ея полнотѣ. Та вѣра во всемогу-

щество критически мыслящихъ личностей, которая лежала въ основаніи теоріи Лаврова, вѣра во всесиліе интеллигенціи, представляется теперь совершенно непріемлемой; однако мы еще болѣе далеки отъ того великолѣпнаго презрѣнія, съ которымъ многіе относятся къ внѣклассовой и внѣсословной интеллигенціи, ad majorem gloriam классовой идеологіи, причемъ въ презрѣніи этомъ характернѣе всего то, что всѣ эти классовые идеологи въ большинствѣ случаевъ сами являются представителями той же внѣклассовой и внѣсословной интеллигенціи... Если допустить, что старое народничество и переоцѣнивало значеніе интеллигенціи, то русскій марксизмъ попытался свести его на нѣтъ; давно пора вернуться къ правильной оцѣнкѣ собственныхъ силъ и собственнаго значенія. Разумѣется, это не призывъ «назадъ къ Лаврову!» Всякіе подобные призывы представляются всегда вполнѣ неумѣстными и обреченными на неудачу. Лавровъ—давно пройденная ступень русскаго самосознанія, но, не возвращаясь назадъ къ нему, мы можемъ идти по многимъ направленіямъ впередъ отъ него. Такъ слѣдуетъ поступить и въ вопросѣ объ интеллигенціи; давно пора признать, и признать категорически, высокую этическую цѣнность и неоспоримый, хотя и не непосредственный, соціологическій вѣсъ за этой лучшей и высшей частью русскаго культурнаго общества. Теорія всесилія интеллигенціи, конечно, не воскреснетъ, но это не мѣшаетъ намъ признать, что только во внѣсословной, внѣклассовой (соціологически) и анти-мѣщанской (этически) интеллигенціи происходитъ творчество новыхъ формъ и идеаловъ, активно проводимыхъ къ цѣли физическаго, умственнаго и нравственнаго развитія и самоосвобожденія личности. И какъ бы ни былъ малъ абсолютный соціологическій вѣсъ

интеллигенціи, но въ ея творчествѣ, въ ея идеалахъ— жизненный нервъ народа, ибо интеллигенція есть дѣйствительно органъ народнаго сознанія и совокупность живыхъ силъ народа. Пусть даже соціологически интеллигенція невѣсома, но безъ ея творчества, безъ ея идеаловъ всякое «культурное» общество, всякій могущественный классъ обращается въ толпу «мѣщанъ»...

Итакъ, на вопросъ «что такое интеллигенція?» мы можемъ дать теперь слѣдующій отвѣтъ:

Интеллигенція есть этически — анти-мѣщанская, соціологически—внѣсословная, внѣклассовая, преемственная группа, характеризуемая творчествомъ новыхъ формъ и идеаловъ и активнымъ проведеніемъ ихъ въ жизнь въ направленіи къ физическому и умственному, общественному и индивидуальному освобожденію личности [1].

Опредѣленіе это количественно значительно суживаетъ группу интеллигенціи, но качественно значительно повышаетъ ея цѣнность. Но именно это и желательно, такъ какъ чрезмѣрное расширеніе понятія «интеллигенціи», внесеніе въ нее всѣхъ людей съ условной суммой знаній значительно понижало этическую цѣнность интеллигенціи. Принципъ «non multa, sed multum» вполнѣ приложимъ и къ данному случаю.

Однако данное выше опредѣленіе интеллигенціи далеко еще не можетъ считаться окончательнымъ; намъ надо точнѣе опредѣлить, въ чемъ состоитъ творчество, чѣмъ характеризуется активность и что опредѣляетъ собою направленіе работы интеллигенціи.

---

[1]) Подробное развитіе этого взгляда на интеллигенцію, намѣченнаго здѣсь лишь въ общихъ чертахъ, читатель найдетъ въ моей книгѣ «Объ интеллигенціи».

Мы увидимъ ниже, что творчество русской интеллигенціи состояло въ ея «борьбѣ за индивидуальность», за широту, глубину и яркость человѣческаго «я», что активность ея характеризовалась борьбой за личность, борьбой политической и соціальной, что направленіе активнаго творчества опредѣлялось принципомъ «человѣка—цѣли». Вскрыть эту основу полуторастолѣтней исторической ткани значитъ опредѣлить содержаніе исторіи русской интеллигенціи.

II.

Содержаніе исторіи русской интеллигенціи.

Внѣсословная, внѣклассовая, преемственная группа—таковы четыре формальныхъ признака понятія «интеллигенціи», сказали мы выше; одинъ изъ этихъ признаковъ, преемственность, дѣлаетъ возможной *исторію* этой группы, исторію русской интеллигенціи.

Исторія русской интеллигенціи — это полуторастолѣтній мартирологъ, это исторія эпической борьбы, исторія мученичества и героизма. Считаемъ нужнымъ подчеркнуть, что *этой* исторіи читатель не найдетъ въ лежащей передъ нимъ книгѣ: внѣшняя, фактическая сторона исторіи русской интеллигенціи не входитъ въ содержаніе предлагаемаго труда, или, вѣрнѣе сказать, входитъ только отчасти; такой сторонѣ исторіи русской интеллигенціи уже давно посвященъ цѣлый рядъ цѣнныхъ изслѣдованій, научно-историческихъ трудовъ, особенно обильныхъ за послѣднее время.

Цѣль настоящей работы—не внѣшняя сторона исторіи русской интеллигенціи, а внутреннее содержаніе ея, не исторія развертыванія фактовъ, а исторія развитія идей; иначе говоря, въ настоящей книгѣ читатель найдетъ не столько *исторію* русской интеллигенціи, сколько *философію* этой исторіи. Разумѣется, внѣшніе факты и внутреннее содержаніе всякой исторіи находятся между собой въ тѣснѣйшей связи; необходимо параллельное изученіе фактовъ и идей факты должны быть правильно освѣщены идеями и

идеи должны правильно освѣщать факты. Читатель найдетъ поэтому въ предлагаемой книгѣ и исторію фактовъ, внѣшнюю исторію русской интеллигенціи, но лишь постольку, поскольку эта внѣшняя сторона исторіи необходима для изученія развитія идей, для философіи исторіи русской интеллигенціи.

Философія исторіи русской интеллигенціи есть въ то же время отчасти и философія русской литературы. Литература есть тотъ фокусъ, въ которомъ собирается безконечное количество лучей, преломленныхъ жизнью. Русская литература въ этомъ отношеніи сыграла совершенно особую, неизмѣримую по значенію роль: условія русской жизни, жизни русской интеллигенціи, складывались такъ, что только въ одной литературѣ горѣлъ огонь, насильно погашенный въ сѣрой и слякотной общественной жизни русской интеллигенціи; только въ одной литературѣ Бѣлинскій видѣлъ жизнь и движеніе впередъ. Отсюда громадное этическое значеніе русской литературы, ея столь ненавистное многимъ «учительство»; отсюда строгое и требовательное отношеніе къ ней, чуждое всякихъ компромиссовъ, далекое отъ малѣйшихъ уступокъ. Все, что преломляла и отражала жизнь, вся любовь и вся ненависть—все горѣло яркимъ огнемъ въ русской литературѣ, общественная ненависть, политическая борьба, глубокіе этическіе запросы—ничто не было ей чуждо. Русская литература—Евангеліе русской интеллигенціи; Изучая постепенное развитіе идей въ русской интелигенціи необходимо обратить поэтому глубокое вниманіе на значеніе русской литературы; для исторіи русской интеллигенціи Пушкинъ или Чеховъ имѣютъ не меньшее значеніе, чѣмъ Пестель или Бакунинъ. Поэтому всякая философія исторіи русской интеллигенціи неизбѣжно является въ то же время отчасти и философіей русской литературы.

Итакъ, исторія русской общественной мысли,

это — изученіе развитія идей, непрерывной нити развивающагося міросозерцанія русской интеллигенціи. Очевидно, что только въ многотомной работѣ можно было бы съ достаточной подробностью прослѣдить за всѣми отвѣтвленіями этой непрерывной нити, за всѣми побочными ростками вѣкового дерева русской общественности. Размѣры настоящаго труда позволяютъ намъ держаться только главнаго ствола, слѣдить только за «большой дорогой» исторіи русской интеллигенціи и только самыми общими штрихами набрасывать рядомъ направленіе громаднаго числа «проселочныхъ дорогъ». Другими словами, это значитъ, что внѣклассовая, преемственная группа русской интеллигенціи часто раскалывалась, разъединялась на нѣсколько частей, на нѣсколько подгруппъ, изъ которыхъ каждая шла своей дорогой; размѣры предлагаемой исторіи русской общественной мысли не позволяютъ намъ изучать шагъ за шагомъ движеніе каждой изъ этихъ подгруппъ. Только въ двухъ случаяхъ мы прослѣдимъ подробно за разъединенными группами русской интеллигенціи, изучая «великій расколъ» интеллигенціи сороковыхъ годовъ — западничество и славянофильство, и второй великій расколъ интеллигенціи девяностыхъ годовъ — народничество и марксизмъ.

Во всѣхъ другихъ случаяхъ мы будемъ держаться только главнаго ствола, изучать только большую дорогу исторіи, лишь мимоходомъ характеризуя побочныя вѣтви и проселочныя дороги.

Но гдѣ критеріумъ, позволяющій опредѣлить большую дорогу исторіи русской интеллигенціи? Гдѣ та аріаднина нить, которая позволитъ намъ увѣренно двигаться въ лабиринтѣ общественно-литературныхъ теченій?—Отвѣтить на этотъ вопросъ—значитъ въ сущности опредѣлить ту точку зрѣнія, съ которой будетъ изучаться нами содержаніе исторіи русской интеллигенціи.

Въ исторіи, какъ и въ физикѣ, изучая тотъ или иной процессъ, необходимо настолько же тщательно изучить и среду, его окружающую. Изучая процессъ развитія идей, мы должны, какъ уже отмѣчено выше, обращать вниманіе на факты; изучая ходъ развитія русской интеллигенціи, мы должны изучить и ту среду, въ борьбѣ съ которой это развитіе совершалось. Вѣдь въ сущности процессъ и среда обозначаются всегда знакомъ взаимно-противоположнымъ; это полярныя величины (лица, знакомыя съ физической химіей, безъ труда узнаютъ въ этой формулировкѣ такъ называемый законъ Лешателье); а если такъ, то несомнѣнно, что центральная идея процесса развитія русской интеллигенціи должна быть полярна преобладающему настроенію той среды, въ которой происходилъ процессъ этого развитія. Мы вполнѣ выразимъ нашу мысль, если скажемъ, что считаемъ центральной идеей этого процесса —*индивидуализмъ*, а основнымъ настроеніемъ среды—*мѣщанство*.

Что такое мѣщанство, то мѣщанство, которое служило фономъ процессу развитія идей русской интеллигенціи? Терминъ этотъ въ настоящее время употребляютъ часто, болѣе того —имъ злоупотребляютъ; совершенно неоспорима необходимость внесенія этого «новаго» понятія въ нашу разговорную рѣчь, но не менѣе необходимо и точное опредѣленіе его. Характерна исторія этого термина. На рубежѣ XIX-го и XX-го вѣка терминъ «мѣщанство» сталъ популярнымъ съ легкой руки М. Горькаго, котораго въ то время даже Михайловскій упрекалъ за такой непростительный каламбуръ (приданіе сословному термину внѣсословнаго этическаго значенія). Обвиненіе это было направлено не по адресу, такъ какъ на такомъ «каламбурѣ» было построено за полъ-вѣка до М. Горькаго, какъ это мы увидимъ, цѣлое міровоз-

зрѣніе — глубокое и стройное міровоззрѣніе Герцена.

Герценъ впервые употребилъ слово «мѣщанство» для обозначенія комплекса явленій не сословнаго и не экономическаго, а этическаго характера; и въ настоящее время мы, минуя М. Горькаго и его немногихъ предшественниковъ (напр., П. Ткачева—см. его статьи о «мѣщанствѣ» въ «Дѣлѣ» въ 1868 и 1877 г.; Писемскаго—см. его романъ «Мѣщане», 1878 г.), возвращаемся прямо къ терминологіи Герцена, этого геніальнаго родоначальника народничества.

Въ главѣ о Герценѣ мы остановимся подробно на пониманіи Герценомъ «мѣщанства» и тогда увидимъ, какое громадное значеніе сыграло это понятіе при построеніи Герценомъ своего міровоззрѣнія; теперь мы только въ самыхъ общихъ чертахъ коснемся этого понятія, значеніе котораго будетъ становиться на послѣдующихъ страницахъ все яснѣе и яснѣе.

Мѣщанство—въ смыслѣ, приданномъ ему Герценомъ—есть понятіе, характеризуемое тѣми же четырьмя формальными признаками, какъ и интеллигенція; иными словами, мѣщанство есть группа преемственная, внѣклассовая и внѣсословная. Въ этихъ признакахъ—главное отличіе «мѣщанства» отъ «буржуазіи», типично сословной и классовой группы. Буржуазія это прежде всего—третье *сословіе*; далѣе это общественный *классъ*, рѣзко опредѣляемый и характеризуемый, какъ экономическая категорія, понятіемъ ренты въ томъ или иномъ ея видѣ (подъ рентой, въ условно-широкомъ смыслѣ, мы понимаемъ и доходъ предпринимателей, и доходъ землевладѣльцевъ). Понятіе «мѣщанства»—неизмѣримо шире, такъ какъ внѣклассовость и внѣсословность являются его характерными признаками; однако выше мы уже произвели нѣкоторое отграниченіе и ограниченіе этого

понятія: мы видѣли, что отрицательнымъ опредѣленіемъ интеллигенціи является ея анти-мѣщанство— въ группу интеллигенціи не входятъ мѣщане. Теперь мы можемъ заявить mutatis mutandis: отрицательнымъ опредѣленіемъ группы мѣщанства является то, что интеллигенція не входитъ въ эту группу; интеллигенція и мѣщанство суть такимъ образомъ два взаимно отграничивающихъ и ограничивающихъ другъ друга понятія.

Если это такъ, то очевидно, что мѣщанство, въ противоположность интеллигенціи, должно характеризоваться отсутствіемъ творчества, отсутствіемъ активности; новые идеалы, новыя формы, активное проведеніе ихъ—все это несвойственно мѣщанству. Старыя трафаретныя формы—вотъ что дорого мѣщанству, вотъ что является его знаменемъ. Герценъ, имѣя въ виду главнымъ образомъ буржуазное мѣщанство (послѣ всего сказаннаго—это не плеоназмъ), считалъ излюбленнымъ знаменемъ мѣщанства *одну* изъ этихъ старыхъ формъ, именно собственность: «мѣщанство—послѣднее слово цивилизаціи, основанной на безусловномъ самодержавіи собственности» («Колоколъ», 1 іюля 1862 г.). Мы видимъ теперь, что это только частный случай, хотя, вообще говоря, и очень характерный; мы увидимъ впослѣдствіи, что въ *русской* жизни и литературѣ XIX-го вѣка буржуазное мѣщанство играло только второстепенную роль, въ то время какъ мѣщанство въ другихъ его проявленіяхъ временами все подавляло и надъ всѣмъ господствовало. Поэтому мы не можемъ приписать мѣщанству какое бы то ни было опредѣленное содержаніе, а указываемъ только на формальные признаки мѣщанства; мы не можемъ поставить на знамени мѣщанства какую-либо одну изъ старыхъ, трафаретныхъ формъ, такъ какъ различныя подгруппы мѣщанства и характеризуются именно различіемъ

тѣхъ старыхъ формъ, которыя служатъ ихъ знаменами.

Все это не мѣшаетъ намъ, однако, составить о мѣщанствѣ вполнѣ опредѣленное понятіе, уразумѣть и почувствовать его сущность, его духъ; мы говоримъ теперь, конечно, о «мѣщанствѣ» не какъ группѣ, а какъ о главномъ свойствѣ этой группы. Мѣщанство, какъ понятіе объекта, и мѣщанство, какъ понятіе аттрибута, къ сожалѣнію, не различаются на русскомъ языкѣ (напримѣръ такъ, какъ различаются «интеллигенція» и «интеллигентность»), но читателю не трудно будетъ въ дальнѣйшемъ отличать по самому смыслу рѣчи, говорится ли о мѣщанствѣ какъ о группѣ или какъ о духовной сущности этой группы, тѣмъ болѣе, что, говоря о мѣщанствѣ въ послѣднемъ смыслѣ, мы обыкновенно будемъ опредѣлять его терминомъ «духовное мѣщанство» или «этическое мѣщанство», въ отличіе отъ мѣщанства, какъ сословія —во-первыхъ, и отъ мѣщанства, какъ внѣсословной группы—во-вторыхъ.

Опредѣляя возможно широко сущность этическаго мѣщанства, мы скажемъ, что мѣщанство это—*узость*, *плоскость* и *безличность*, узость формы, плоскость содержанія и безличность духа; иначе говоря, не имѣя опредѣленнаго *содержанія*, мѣщанство характеризуется своимъ вполнѣ опредѣленнымъ *отношеніемъ* къ какому бы то ни было содержанію: самое глубокое оно дѣлаетъ самымъ плоскимъ, самое широкое—самымъ узкимъ, рѣзко-индивидуальное и яркое—безличнымъ и тусклымъ. «Съ мѣщанствомъ стираются личности»,—замѣчаетъ Герценъ; «*чинный*—это настоящее слово (для характеристики мѣщанства). У мѣщанства, какъ у Молчалина, два таланта и тѣ же самые: умѣренность и аккуратность»... («Концы и Начала»). Мѣщанство—это трафаретность, символъ вѣры мѣщанства и его завѣтнѣйшее стремленіе—

это «быть какъ всѣ»; мѣщанство, какъ группа, есть поэтому та «сплоченная посредственность» (conglomerated mediocrity, по цитируемому Герценомъ выраженію Милля) которая всюду и всегда составляла *толпу*, доминирующую въ жизни. Впослѣдствіи мы еще не разъ остановимся на характеристикѣ мѣщанства, а теперь ограничимся этимъ краткимъ опредѣленіемъ.

Все предыдущее вполнѣ выясняетъ теперь, почему интеллигенція и мѣщанство, какъ группы, суть взаимно отграничивающія другъ друга понятія; болѣе того, теперь мы видимъ, что интеллигенція и мѣщанство—это двѣ силы, дѣйствующія въ діаметрально противоположныхъ направленіяхъ, двѣ непримиримо враждебныя силы: мѣщанство—это та среда, въ неустанной борьбѣ съ которой происходилъ процессъ развитія русской интеллигенціи. *Борьба съ мѣщанствомъ*—вотъ та точка зрѣнія, съ которой мы будемъ изучать содержаніе исторіи русской интеллигенціи, процессъ ея развитія.

Но это еще только половина отвѣта на вопросъ, такъ какъ борьба *съ* кѣмъ-нибудь ведется всегда *за* что нибудь... Опредѣляя понятіе интеллигенціи, мы уже отмѣтили, что борьба интеллигенціи состояла и состоитъ въ активномъ проведеніи въ жизнь новыхъ формъ и идеаловъ, направленныхъ къ самоосвобожденію личности. Теперь мы имѣемъ возможность подробнѣе развить эту мысль, отмѣчая, что считаемъ *индивидуализмъ* главнымъ содержаніемъ исторіи русской интеллигенціи, центральной идеей, аріадниной нитью ея развитія. Отъ мѣщанства мы неизбѣжно приходимъ къ индивидуализму: мы видѣли, что если творчество и активность характеризуютъ интеллигенцію, то отсутствіе творчества и отсутствіе активности характерны для мѣщанства; поэтому и mutatis mutandis: разъ основными чертами мѣщанства

являются узость, плоскость и безличность, то широта, глубина и яркая индивидуальность должны быть присущи интеллигенціи. Мы имѣемъ поэтому передъ собой и рѣзко поставленную проблему индивидуализма.

Что такое индивидуализмъ? Точное опредѣленіе терминологіи въ данномъ случаѣ еще болѣе необходимо, чѣмъ въ случаѣ съ «мѣщанствомъ», такъ какъ понятіе это употребляется въ самыхъ разнообразныхъ и въ самыхъ противорѣчивыхъ смыслахъ. Не претендуя на примиреніе всѣхъ подобныхъ противорѣчій, мы только опредѣлимъ, какъ будемъ понимать «индивидуализмъ» въ послѣдующемъ изложеніи.

Индивидуализмъ есть приматъ личности — вотъ самое широкое, общее опредѣленіе; индивидуализмъ есть признаніе человѣческой личности первой и главной цѣнностью, индивидуализмъ есть признаніе, что благо реальной человѣческой личности должно служить критеріемъ нашихъ поступковъ, нашего міровоззрѣнія. Каждое міровоззрѣніе неизбѣжно является или индивидуализмомъ, или анти-индивидуализмомъ, въ зависимости отъ того, господствуетъ ли въ немъ человѣческая личность надъ другими его элементами, или человѣческая личность является подчиненной какому-нибудь иному элементу міровоззрѣнія. Или — или: tertium non datur. Однако было бы ошибкой полагать, что индивидуалистическое міровоззрѣніе характеризуется подавленіемъ всѣхъ другихъ элементовъ элементомъ личности: индивидуализмъ есть *приматъ* личности, въ ея гармоническомъ сочетаніи со всѣми прочими элементами міровоззрѣнія, но никакъ не деспотическое подчиненіе всего другого человѣческой личности, какъ какому-то самодержавному идолу; индивидуализмъ — не идолопоклонство. Когда мы будемъ встрѣчаться съ такимъ идолопоклонствующимъ индивидуализмомъ, то будемъ обозначать его

терминомъ *ультра-индивидуализмъ*; когда мы будемъ встрѣчаться съ подчиненіемъ и порабощеніемъ человѣческой личности кому бы то и чему бы то ни было, то будемъ говорить объ *анти-индивидуализмѣ* подобнаго воззрѣнія. Въ дальнѣйшемъ изложеніи термины эти будутъ встрѣчаться настолько часто, что мы считаемъ излишнимъ останавливаться здѣсь на нихъ подробнѣе. Ограничимся только однимъ общимъ примѣромъ. Міровоззрѣніе, признающее, что благо общества есть главный критерій нашей дѣятельности, что отдѣльная человѣческая личность есть только «палецъ отъ ноги» общественнаго организма и не заслуживаетъ никакого вниманія, - міровоззрѣніе это является типичнымъ *анти-индивидуализмомъ* (напр., міровоззрѣніе Бѣлинскаго въ періодѣ гегельянства; міровоззрѣніе большинства шестидесятниковъ, а особенно исповѣдывавшихъ такъ называемую органическую теорію общества). Наоборотъ, міровоззрѣніе, считающее существеннымъ только благо личности, міровоззрѣніе анти-общественное, признающее личность не только первымъ, но и самодовлѣющимъ элементомъ—это міровоззрѣніе можетъ служить яркимъ примѣромъ *ультра-индивидуализма* (таковымъ было, напримѣръ, міровоззрѣніе русскихъ фихтіанцевъ тридцатыхъ годовъ, воззрѣніе «декадентства» конца XIX вѣка). Наконецъ, истиннымъ *индивидуализмомъ* будетъ то міровоззрѣніе, которое, ставя личность превыше всего—«выше общества, выше человѣчества», какъ это дѣлалъ Бѣлинскій къ концу жизни – въ то же самое время принимаетъ и признаетъ, что общество есть не ограниченіе, а, напротивъ, восполненіе человѣческой личности, что принятіе принципа примата личности не противорѣчитъ отрицанію самодовлѣющаго значенія личности (такимъ типично индивидуалистическимъ міровоззрѣніемъ, было, напримѣръ, цѣльное и гармоничное міровоззрѣніе Михайловскаго).

Отсюда между прочимъ ясно, что обычное противопоставленіе индивидуализма и соціализма не имѣетъ, согласно нашей терминологіи, ни малѣйшаго смысла, если только не понимать подъ соціализмомъ приматъ общества; однако общепринятое пониманіе соціализма совершенно иное, и мы будемъ его держаться: соціализмъ, какъ міровоззрѣніе, отнюдь не противоположенъ индивидуализму, и «индивидуалистическій соціализмъ» не есть contradictio in adjecto — соціализмъ есть только соціально-экономическая форма, этическое содержаніе которой можетъ составлять индивидуализмъ. Противопоставлять индивидуализму въ дальнѣйшемъ мы будемъ «общественность», понимая подъ послѣдней принципъ примата общества.

Читатель, вѣроятно, уже замѣтилъ, что мы перешли отъ общаго случая къ частному случаю индивидуализма, а именно къ тому, что мы будемъ называть *соціологическимъ индивидуализмомъ*, т.-е. тѣмъ индивидуализмомъ, которому противоположна общественность. Дѣло въ томъ, что индивидуализму вообще, индивидуализму, какъ примату личности, можно противопоставить что бы то ни было не раньше, чѣмъ поставленъ вопросъ—о *какомъ* приматѣ, о приматѣ *надъ чѣмъ* здѣсь идетъ рѣчь? Пока мы не поставили этого вопроса, мы могли говорить объ индивидуализмѣ, какъ о приматѣ личности вообще, *объ этическомъ индивидуализмѣ*. Лучшая изъ возможныхъ формулъ этого индивидуализма была дана Кантомъ въ знаменитыхъ словахъ: человѣкъ есть цѣль въ себѣ самомъ (an sich) и ни въ коемъ случаѣ, никому и никогда не можетъ служить только средствомъ. «Человѣкъ — самоцѣль», такова эта сокращенная формула, которой мы будемъ пользоваться ниже; человѣкъ ни для кого и ни для чего не можетъ быть средствомъ и только средствомъ — таково это общее значеніе принимаемаго нами принципа примата

личности; въ этомъ заключается содержаніе этическаго индивидуализма, въ этомъ рѣшеніе индивидуализма, какъ этической проблемы.

Но очевидно, что индивидуализмъ въ то же время есть приматъ личности прежде всего надъ обществомъ: это приводитъ насъ къ индивидуализму какъ проблемѣ соціологической, къ тому соціологическому индивидуализму, о которомъ мы только-что говорили: три возможныхъ рѣшенія этой проблемы были указаны нами выше. Взаимоотношеніе личности и общества—центральная проблема всякаго міровоззрѣнія, теодицея его; то или иное рѣшеніе этой проблемы будетъ служить намъ аріадниной нитью при изученіи исторіи русской интеллигенціи, исторіи русскаго сознанія [1]).

Этимъ мы могли бы закончить выясненіе понятія индивидуализма, если бы можно было пройти мимо одного общеупотребительнаго пониманія индивидуализма не какъ примата личности вообще, а какъ *примата яркой личности*. Это заставляетъ насъ коснуться понятія «индивидуальности» и указать на связь его съ главной нашей темой.

Выше намъ приходилось неоднократно говорить о «человѣческой личности», при чемъ мы старались обходить тѣ метафизическіе запросы, которые тѣсно связаны съ самимъ понятіемъ «личности»; прибавляя къ этому понятію опредѣленіе, мы всюду говорили о «реальной личности», подчеркивая тѣмъ, что въ дальнѣйшемъ будемъ понимать личность исключительно эмпирически. Авторъ не стоитъ на точкѣ зрѣнія позитивизма, будучи сторонникомъ имманентной школы. Однако въ предлагаемой работѣ идетъ рѣчь

---

[1]) Кстати будетъ отмѣтить слѣдующее: такъ какъ мы существенную долю вниманія обращаемъ на литературу, то неоднократно будемъ говорить объ *эстетическомъ индивидуализмѣ*, понимая подъ этимъ вполнѣ условнымъ выраженіемъ теорію искусства для искусства и приматъ личности художника.

исключительно объ эмпирической личности, ибо метафизическая сторона этого вопроса вышла на «большую дорогу» исторіи русской интеллигенціи только въ началѣ XX вѣка, почему мы и считали себя въ правѣ почти всецѣло миновать эту проблему, изучая исторію интеллигенціи XIX столѣтія. Вкратцѣ точка зрѣнія автора такова: имманентная философія неизбѣжно приводитъ къ солипсизму и даже болѣе того—къ признанію, что «я» есть только рядъ безсвязныхъ элементовъ сознанія. Признаніе этого ряда элементовъ сознанія за цѣльную «личность» есть уже вполнѣ метафизическое построеніе; на метафизической почвѣ дѣлается и дальнѣйшій шагъ—преодолѣніе солипсизма, утвержденіе цѣльности и дѣйствительности «личностей» вообще, и далѣе—признаніе «эмпирической личности». Все это тѣ метафизическіе лѣса, которые необходимы при построеніи міровоззрѣнія, но которые нужно снять, чтобы увидѣть построенное зданіе.

Но если оказывается возможнымъ избѣжать загроможденія центральнаго для насъ понятія «личности» вспомогательными философско-метафизическими построеніями, то на понятіи «индивидуальности» намъ придется остановиться нѣсколько подробнѣе, чтобы выяснить нѣкоторыя недоразумѣнія, связанныя съ этимъ понятіемъ.

Мы уже видѣли, что если основными чертами мѣщанства являются узость, плоскость и безличность, то діаметрально-противоположныя свойства должны характеризовать собою интеллигенцію. Итакъ, яркая индивидуальность — это conditio sine qua non антимѣщанства, и въ этомъ смыслѣ индивидуализмъ, какъ приматъ яркой личности, противопоставляется духовному мѣщанству; но вотъ въ чемъ существенный вопросъ: совмѣстимы ли съ яркой индивидуальностью двѣ остальныя черты анти-мѣщанства—широта

и глубина? Или, вѣрнѣе сказать: какой именно изъ этихъ двухъ чертъ главнымъ образомъ характеризуется индивидуальность? и ея характеристика двумя этими чертами одновременно не будетъ ли страдать непримиримымъ противорѣчіемъ?

Индивидуальность можно понимать, во-первыхъ, какъ сумму всѣхъ типично-общечеловѣческихъ чертъ— въ этомъ случаѣ индивидуальность захватываетъ собою всю *широту* человѣческой личности; во-вторыхъ, индивидуальность можно понимать, какъ особую характерность нѣкоторыхъ чертъ личности,—въ этомъ случаѣ индивидуальность опредѣляется яркостью и *глубиной* человѣческой личности. На эти два возможныя пониманія индивидуальности впервые указалъ въ русской литературѣ Михайловскій, твердо и опредѣленно ставшій на первую точку зрѣнія и неоднократно подчеркивавшій ея полную несовмѣстность со второй. «Чаще всего подъ индивидуальностью разумѣютъ совокупность чертъ, рѣзко выдвигающихъ извѣстную личность изъ среды окружающихъ ее людей,—заявлялъ Михайловскій въ одной изъ первыхъ своихъ статей, еще въ 1870 г.:—индивидуальный значитъ здѣсь личный, особенный. Мы будемъ употреблять это выраженіе совершенно иначе, именно, будемъ разумѣть подъ индивидуальностью человѣка совокупность всѣхъ чертъ, свойственныхъ человѣческому организму вообще»... (Собр. соч., т. I, стр. 88—9). Годомъ позже Михайловскій усиленно доказывалъ несовмѣстность этихъ двухъ пониманій индивидуальности. «Индивидъ—писалъ онъ—есть сумма свойствъ данной ступени органическаго развитія, т.-е. даннаго вида»... Идеалъ, къ которому долженъ стремиться человѣкъ, это—быть наиболѣе человѣкомъ, наиболѣе общимъ представителемъ вида homo sapiens: «всѣ способности, какія только имѣетъ человѣкъ, какъ извѣстная ступень органическаго развитія,

должны быть соединены въ каждомъ изъ насъ, въ каждомъ представителѣ вида... Едва ли кто-нибудь станетъ оспаривать законность и величіе такого идеала; выше его мы, очевидно, ничего себѣ представить не можемъ. Но очевидно также, что чѣмъ болѣе будемъ мы приближаться къ этому идеалу, тѣмъ болѣе будетъ исчезать разнообразіе нашихъ личныхъ положеній»... При этомъ, однако, умаляется и исчезаетъ индивидуальность, но индивидуальность уже въ другомъ смыслѣ, «въ смыслѣ личной особенности, въ смыслѣ такихъ свойствъ, какія есть у меня, но нѣтъ у моего сосѣда и наоборотъ. Понятно, что согласить два такія требованія индивидуальности невозможно»... (Собр. соч., т. I, стр. 269 — 270). «Обѣ эти точки зрѣнія имѣютъ свой raison d'être, — писалъ Михайловскій четверть вѣка спустя, — но разница между ними столь велика, что отвѣчать на вопросы, возникающіе на почвѣ первой, аргументами почерпнутыми изъ района второй, не представляется никакой логической возможности»... («Русское Богатство», 1897 г. № 5). Глубина и широта человѣческой индивидуальности являются для Михайловскаго величинами обратно-пропорціональными, чѣмъ и объясняется его глубочайшее убѣжденіе въ несовмѣстности двухъ вышеприведенныхъ опредѣленій индивидуальности.

Это убѣжденіе и составляетъ главную, центральную ошибку въ стройномъ и гармоничномъ міровоззрѣніи Михайловскаго; мы покажемъ въ своемъ мѣстѣ, что широта и глубина человѣческой личности вполнѣ совмѣстны, что онѣ и могутъ и должны находиться въ прямо-пропорціональной связи. А если это такъ, то очевидно, что ни первое, ни второе въ отдѣльности изъ вышеприведенныхъ опредѣленій индивидуальности не можетъ быть принято нами; мы будемъ понимать подъ индивидуальностью сумму

всѣхъ типично-общечеловѣческихъ чертъ, при неизбѣжной яркости и характерности *нѣкоторыхъ* изъ этихъ чертъ. Очевидно, что индивидуализмъ въ смыслѣ примата индивидуальности (въ только-что установленномъ смыслѣ) является діаметральной противоположностью мѣщанства, характеризуемаго безличіемъ, узостью и плоскостью; очевидно, что «борьба съ мѣщанствомъ», въ которой заключался процессъ развитія русской интеллигенціи, была въ то же время и «борьбой за индивидуальность», борьбой за индивидуализмъ, въ смыслѣ примата яркой личности.

Резюмируемъ вкратцѣ. Индивидуализмъ въ самомъ общемъ своемъ значеніи есть приматъ личности: «человѣкъ—самоцѣль», такова формула этого этическаго индивидуализма (Л. Толстой и главнымъ образомъ Достоевскій были въ русской литературѣ величайшими провозвѣстниками этого индивидуализма). Въ другомъ смыслѣ, въ смыслѣ примата индивидуальности, индивидуализмъ является противоположеніемъ мѣщанству, и борьба съ мѣщанствомъ равнозначна въ этомъ случаѣ борьбѣ за индивидуальность (противопоставленіе индивидуализма и мѣщанства легло во главу угла міровоззрѣнія Герцена). Въ третьемъ смыслѣ индивидуализмъ, какъ приматъ личности надъ обществомъ, долженъ быть противопоставленъ «общественности»; въ этомъ случаѣ мы можемъ говорить о соціологическомъ индивидуализмѣ. (Проблема соціологическаго индивидуализма и сопоставленіе индивидуализма и общественности были центральнымъ пунктомъ міровоззрѣнія Михайловскаго).

Такимъ образомъ индивидуализмъ будетъ служить намъ той аріадниной нитью, руководствуясь которой, мы будемъ идти по «большой дорогѣ» исторіи русской интеллигенціи; изучать содержаніе этой исторіи мы

будемъ съ точки зрѣнія развитія въ ней идей индивидуализма. Поступая такъ, мы не только не суживаемъ наше изслѣдованіе тѣсными рамками, но, наоборотъ, придаемъ ему возможную широту захвата, ибо то или иное рѣшеніе проблемы индивидуализма вполнѣ характеризуетъ собою каждое міровоззрѣніе, являясь его центральнымъ пунктомъ, его теодицеей: изучая исторію русскаго сознанія, исторію связи и развитія міровоззрѣній, мы должны были взять за руководящую нить то наиболѣе общее, что неизбѣжно главенствуетъ въ каждомъ міровоззрѣніи.

Читателю теперь ясна наша точка зрѣнія. Мѣщанство было той средой, въ борьбѣ съ которой шло впередъ развитіе русской интеллигенціи; эта борьба съ мѣщанствомъ велась во имя личности и во имя индивидуальности. Безпрерывно шла борьба за индивидуальность, за широту, глубину и яркость человѣческаго «я»; безпрерывно велась борьба за личность—борьба политическая противъ государства, борьба соціальная, классовая и борьба противъ «общественности»; наконецъ, безпрерывно шла борьба за человѣческую личность, какъ за цѣль, борьба противъ теорій и дѣйствій, основанныхъ на приписываніи личности значенія только средства. Изучить приливныя и отливныя волны этой борьбы, прослѣдить съ этой точки зрѣнія за смѣной и преемственностью теорій и міровоззрѣній—значитъ составить исторію русской общественной мысли и философію исторіи русской интеллигенціи. Борьба съ мѣщанствомъ и борьба за индивидуализмъ (въ трехъ вышеуказанныхъ смыслахъ)—это настолько общая точка зрѣнія, что съ высоты ея можетъ быть изучена вся двухсотлѣтняя исторія русскаго сознанія.

Въ преддверіи XIX-го вѣка.

I.

До середины XVIII-го вѣка въ Россіи не было интеллигенціи, какъ преемственной группы внѣсословнаго и внѣклассоваго состава, не было и активной преемственной борьбы за опредѣленные идеалы и противъ опредѣленной системы: были отдѣльные «интеллигенты» своего времени, была стихійная народная борьба съ насиліемъ (будь то польское нашествіе или петровская реформа), но не было интеллигенціи. Типичный русскій анархистъ Өеодосій Косой, типичный русскій «либералъ» XVI-го вѣка Курбскій, Котошихинъ, Хворостининъ, бояре Салтыковы («польская партія») Посошковъ, Татищевъ— всѣ они были отдѣльными, одинокими «интеллигентами»; но какъ единичныя ласточки не дѣлаютъ весны, такъ и отдѣльные интеллигенты не составляютъ группы интеллигенціи.

Петровская революція сильно расшатала сословныя перегородки и хотя выдвинула на сцену новый историческій классъ—шляхетство, но въ то же время дала первый толчокъ къ образованію внѣсословной и внѣклассовой интеллигенціи. Дворянство помимо своей воли принуждено было войти въ жизнь Европы; и какъ ни поверхностна часто бывала прививка европейскаго просвѣщенія, но число отдѣльныхъ «интеллигентовъ», начиная съ петров-

ской эпохи, измѣряется уже не единицами, а десятками и сотнями. Это еще не группа связанная преемственно развивающейся идеей, а просто отдѣльные представители «интеллигенціи in statu nascendi»... Достаточно было нѣсколькимъ «интеллигентамъ» сплотиться вокругъ идеи освобожденія личности и проводить эту идею въ области соціальной и политической, чтобы образовать группу *интеллигенціи*, которая, начиная съ этихъ поръ, продолжаетъ свое преемственное развитіе. Это случилось въ серединѣ XVIII-го вѣка и проявилось въ только-что возникавшей тогда русской литературѣ.

Исторію общественной жизни XVIII го вѣка начинаютъ съ Петра, исторію литературы — съ Ломоносова. «Петръ Россамъ далъ тѣла Екатерина — душу», «Ломоносовъ создалъ литературныя формы, Карамзинъ вдохнулъ въ нихъ жизнь»... 1). Не будемъ пока говорить, кто первый влилъ содержаніе въ формы, оставшіяся послѣ Петра и Ломоносова (во всякомъ случаѣ это были не Екатерина и не Карамзинъ) но согласимся съ тѣмъ, что дѣйствительно Ломоносовъ началъ ту же революцію въ литературѣ, какую Петръ — въ общественно-государственной жизни. Онъ началъ собою эпоху россійскаго ложноклассицизма, съ которымъ намъ нужно познакомиться какъ съ тѣмъ фономъ, на которомъ проявилась начальная литературная дѣятельность русской интеллигенціи. Прежде чѣмъ коснуться общественной жизни Россіи XVIII вѣка, мы остановимся на русской литературѣ этой эпохи.

Тутъ передъ нами проходятъ сплошной толпой: самъ Ломоносовъ, профессоръ элоквенціи и мужъ

---

1) Это мнѣніе впервые было высказано Герценомъ, въ III главѣ его брошюры „Du développement des idées révolutionnaires en Russie", и послѣ этого стало повторяться почти всѣми историками русской литературы.

великаго разума —Тредіаковскій, намѣстникъ Буаловъ и славный нашъ Вольтеръ —Сумароковъ, любимецъ музъ и грацій —Богдановичъ творецъ безсмертной «Россіяды» —Херасковъ и прочіе представители того классицизма, который такъ мѣтко былъ окрещенъ Бѣлинскимъ именемъ псевдо-классицизма. Этотъ псевдо-классицизмъ — тотъ общій фонъ, который полновластно царитъ въ русской литературѣ XVIII вѣка; этотъ фонъ и составляетъ то, что можно назвать литературнымъ мѣщанствомъ или мѣщанствомъ формы.

Трудно отказать многимъ изъ представителей русскаго псевдо-классицизма въ нѣкоторомъ несомнѣнномъ талантѣ; и это относится не только къ такому крупному таланту, какимъ былъ Ломоносовъ. Но полная безличность въ формѣ могла убить и не такой талантъ. Безличность же царила всеобщая. Никто изъ русскихъ псевдо-классиковъ XVIII-го вѣка не сумѣлъ вдохнуть «душу живу» въ мертвыя Ломоносовскія формы: это было по существу невозможно; никто изъ нихъ также не сумѣлъ сбросить съ себя тяжелое иго формы и выйти на свою особую дорогу. Единственнымъ исключеніемъ явился Державинъ, но о немъ и рѣчь будетъ особо; всѣ остальные такъ и остались подъ игомъ псевдо-классицизма, такъ и остались представителями литературнаго мѣщанства, скованнаго условностями формы. Ихъ безчисленныя поэмы, оды, повѣсти, трагедіи наполнены безжизненнымъ матеріаломъ, расположеннымъ зато по самымъ строгимъ правиламъ «искусства» и хитростей піитическихъ. Прелесть своеобразной «стилизаціи» все это имѣло мѣсто и тогда, сохранило ее и до нашихъ дней, но искать въ ней проблесковъ жизни —неблагодарный трудъ. Даже у Ломоносова жизнь пробивается въ рѣдкихъ прочув-

ствованныхъ мѣстахъ—и тотчасъ заглушается патетическими вскрикиваніями, въ родѣ

Священный ужасъ мысль объемлетъ!

или:

Какую радость ощущаю?
Куда я нынѣ восхищенъ?

Вся эта псевдо-классическая бутафорія стоитъ на первомъ планѣ русскаго литературнаго мѣщанства XVIII-го вѣка, въ которомъ мы находимъ только слѣпое подражаніе Ломоносову и, въ лучшемъ случаѣ, западно-европейскимъ образцамъ (большей частью французскимъ). Вездѣ строгая регламентація, а потому и узость каждаго чувства, каждой мысли, вездѣ равненіе въ ложно-классическомъ фронтѣ, вездѣ опасеніе, если не неумѣніе, проявить свою личность, свою индивидуальность. Однимъ словомъ, весь псевдо-классицизмъ и по формѣ и по содержанію несомнѣнно долженъ считаться весьма типичнымъ проявленіемъ мѣщанства въ русской литературѣ XVIII-го вѣка. При ближайшемъ изученіи этотъ общій сѣрый фонъ несомнѣнно является различно окрашеннымъ различными авторскими индивидуальностями; но въ данномъ случаѣ мы ограничиваемся только общимъ взглядомъ на этотъ фонъ.

Это мѣщанство псевдо-классицизма было тѣмъ сплошнымъ сѣрымъ фономъ, на которомъ съ особенной яркостью выдѣлялись три-четыре писателя, въ родѣ Державина и Фонвизина съ одной стороны, Новикова и Радищева съ другой; «чѣмъ ночь темнѣй, тѣмъ ярче звѣзды», и потому эти имена ярко сіяютъ среди темной ночи литературнаго и общественнаго мѣщанства XVIII вѣка.

II.

«Петръ Россамъ далъ тѣла, Екатерина—душу»: это несомнѣнная истина съ хронологической точки

зрѣнія; дѣйствительно, съ екатерининской эпохи начинается въ Россіи ростъ *общественнаго самосознанія*, которое составляетъ «душу живу» каждаго народа; съ екатерининской эпохи начинается поэтому исторія русской литературы по содержанію, также какъ съ Петра и Ломоносова исторія эта началась по формѣ. Насколько во всемъ этомъ велика заслуга самой Екатерины—вопросъ, на который не можетъ быть двухъ отвѣтовъ: роль личности въ исторіи мы вообще не признаемъ настолько существенной, чтобы объяснить ею начало возникновенія новой и значительной эпохи Особенно это относится къ области государственной и общественной жизни; что же касается самой литературы, то въ этой области значеніе Екатерины слишкомъ малозначительно. Несмотря на это, нельзя не отмѣтить появленія знаменитаго «Наказа» (1765—1767 гг.)—попытки Екатерины одухотворить и обработать сырой матеріалъ, доставшійся ей въ наслѣдство отъ Петра Для насъ второстепенное значеніе имѣетъ тотъ фактъ, что «Наказъ»—произведеніе не оригинальное, заимствованное, а также и то, что онъ никогда не былъ проведенъ въ жизнь, вслѣдствіе реакціоннаго поворота мыслей самой императрицы; для насъ это произведеніе интересно, какъ первое оффиціальное провозглашеніе *правъ человѣка*; хотя въ немъ мы имѣемъ дѣло не съ реальной личностью, а съ абстрактнымъ человѣкомъ—но это было удѣломъ всѣхъ русскихъ общественниковъ XVIII-го вѣка, и не только ихъ однихъ, а и большинства мыслителей и общественныхъ дѣятелей того времени: даже во Франціи великая французская революція 1789 г. положила въ основаніе интересы абстрактнаго человѣка, а не реальной личности. Вездѣ мы имѣемъ дѣло съ тѣмъ общимъ математическимъ интеграломъ, который носитъ названіе Чело-

вѣка, и который фиксировалъ свое существованіе въ деклараціи правъ Человѣка и Гражданина (declaration des droits de l'Homme—непремѣнно съ большой буквы).

Личность можетъ свободно развиваться только тогда, когда получитъ свои права человѣкъ; и восемнадцатый вѣкъ былъ эпохой освобожденія абстрактнаго человѣка. Теоретически это проявилось уже въ «Наказѣ», въ подражаніе западнымъ образцамъ, и проявилось въ настолько рѣзкихъ формахъ, что французскій переводъ «Наказа» былъ запрещенъ во Франціи (въ 1769 г.). «Наказъ» въ принципѣ стоитъ вообще за полное освобожденіе «человѣка», и въ частности—за уничтоженіе административнаго ареста (гл. IX), за полную вѣротерпимость (гл. XX), за введеніе всеобщаго обученія (гл. X). Все это—pia desideria для русской общественности всего XIX вѣка, а потому тѣмъ болѣе интересенъ фактъ одной возможности появленія и высказыванія этихъ принциповъ въ серединѣ XVIII-го вѣка въ Россіи; и нужно было-бы быть поистинѣ великой государыней, чтобы хоть отчасти провести «Наказъ» въ жизнь, чтобы не оставить его мертвой буквой. Но книга эта появилась на свѣтъ мертворожденной, она была дѣломъ случая, а не выраженіемъ общественнаго самосознанія; и Екатерина очень скоро отреклась отъ своей книги: по крайней мѣрѣ десять лѣтъ спустя она находила, что «cette pièce est un vrai babil, dans lequel on ne trouve ni connaissance des choses, ni prudence, ni prevoyance» (письмо къ Гримму, 1775 г.).

Общественное сознаніе проявилось не въ «Наказѣ», но въ одномъ литературномъ событіи, одновременномъ ему: въ зарожденіи русской журналистики и выступленіи на историческую сцену ряда общественныхъ дѣятелей и работниковъ—съ Новиковымъ во

главѣ и съ Радищевымъ въ видѣ эпилога. Вотъ къ этому эпизоду середины восемнадцатаго вѣка и относится фактъ зарожденія и начала концентраціи русской *интеллигенціи*, какъ проявительницы общественнаго самосознанія. Интеллигенція эта была *внѣсословной* и эта безсословность осталась навсегда наиболѣе типичнымъ признакомъ группы, объединяемой подъ понятіемъ интеллигенціи. Это не противорѣчитъ тому, что въ разныя эпохи интеллигенція заключала въ себѣ то или иное сословное большинство; такъ, къ эпохѣ «Наказа» окончательно сформировалось дворянство, прониклось сознаніемъ своихъ правъ и, въ лучшей своей части, стало сознавать и свои внѣсословныя обязанности. Иначе говоря, интересы этой интеллигенціи никогда не были сословными; если даже интеллигенція и была по составу своему сословной (до середины XIX-го вѣка большинство ея составляло дворянство), то зато она никогда не была классовой — напримѣръ, земледѣльческой — такъ какъ классовые интересы (для помѣщиковъ-дворянъ — землевладѣльческіе) оставляли ь за бортомъ интеллигенціи. Въ этомъ была и есть ея слабость, но въ этомъ также и источникъ ея неизсякающей силы. Какъ бы то ни было, но сословное большинство интеллигенціи не внесло въ нее сословныхъ и классовыхъ интересовъ: права человѣка стали основой работы этой интеллигенціи; въ Россіи это неизбѣжно должно было свестись на борьбу съ фактомъ, наиболѣе нарушающимъ права человѣка: въ области соціальной — съ крѣпостнымъ правомъ, въ области политической — съ самодержавіемъ. Началась политическая борьба, неизбѣжно имѣвшая въ своей основѣ требованія соціальной реформы.

III.

Въ 1769 г. появились на свѣтъ сатирическіе журналы—и мало-по-малу въ мертвыя литературныя формы стало вливаться живое содержаніе. русская интеллигенція впервые проявила себя. Первый и неожиданный для самого себя толчокъ въ этомъ направленіи далъ авторъ «Наказа»: первымъ сатирическимъ листкомъ была «Всякая всячина», дѣятельнымъ сотрудникомъ которой была, какъ извѣстно, Екатерина II. Но этотъ журнальчикъ является родоначальникомъ остальныхъ только по времени, а не по духу; въ томъ же 1769-мъ году Новиковъ сталъ издавать свой знаменитый «Трутень», направленіе котораго, проявлявшее въ себѣ общественное самосознаніе, было нѣсколько неожиданно для императрицы. Во «Всякой всячинѣ», почти полное отсутствіе какого-либо общественнаго значенія, отсутствіе нападокъ не только на «особъ», но и на «пороки»—для того, «чтобы не оскорблять человѣчество»; съ первыхъ же шаговъ журналъ этотъ впалъ въ духъ умѣренности и аккуратности, сталъ осуждать излишества обличеній (особенно «Трутня»), совѣтовалъ не только обличать, но также и восхвалять «твердаго блюстителя вѣры и закона, хвалить сына отечества, пылающаго любовію и вѣрностью къ государю»... Новиковъ, конечно, не могъ стать на оффиціально-оптимистическую точку зрѣнія придворнаго журнала и выступилъ въ своемъ «Трутнѣ» не только съ мелкими нападками на галломанію, но выдвинулъ впередъ болѣе серьезные вопросы о неправосудіи, о злоупотребленіи помѣщичьей властью, о крѣпостномъ правѣ. Рѣзкое осужденіе порядковъ современнаго строя Новиковымъ (а Новиковъ былъ только представителемъ зародившейся интеллигенціи) не могло

прійтись по сердцу Екатеринѣ; интересно со многихъ точекъ зрѣнія ея письмо во «Всякую всячину», направленное противъ общественной сатиры новиковскаго «Трутня». Разные «дурные шмели» прожужжали всѣ уши Патрикѣю Правдомыслову (псевдонимъ Екатерины) о неправосудіи въ Россіи. Гдѣ же причина неправосудія,—спрашиваетъ Патрикей:—въ законахъ, въ судьяхъ или въ насъ самихъ? Оказывается, что законы наши лучше, чѣмъ въ Европѣ, судьи тоже хороши—и все зло въ насъ самихъ. Лекарство простое; «любезные сограждане! перестанемъ быти злыми—не будемъ имѣти причины жаловаться на неправосудіе»... Эта проповѣдь личнаго самоусовершенствованія, какъ панацеи всѣхъ соціальныхъ золъ, является своеобразнымъ примѣромъ крайняго индивидуализма, выдвигаемаго противъ общественныхъ запросовъ и требованій. Въ этомъ общественномъ квіетизмѣ заключена, конечно, не малая доля мѣщанства.

Въ 1770 г. «Всякая всячина» прекратила свое существованіе «по желанію императрицы», вмѣстѣ съ чѣмъ принуждены были прекратиться всѣ остальные сатирическіе листки, а съ ними и «Трутень»—безъ всякаго желанія со своей стороны: «противъ желанія моего, читатели, я съ вами разлучаюсь», читаемъ мы въ XVII-мъ и послѣднемъ листѣ этого журнала. Но онъ воскресъ черезъ два года подъ новымъ заглавіемъ: въ 1772 г. появился «Живописецъ», въ которомъ главную роль попрежнему игралъ Новиковъ и въ которомъ можно предполагать участіе Радищева. Начиная изданіе журнала, Новиковъ посвятилъ его «Неизвѣстному автору комедіи «О, время»! (т.-е. Екатеринѣ II): «...вы первый—пишетъ Новиковъ—съ такой благородной смѣлостью напали на пороки, въ Россіи господствовавшіе... Вы открыли мнѣ дорогу, которой я всегда страшился»... Всю яв-

вительность такого посвященія легко понять, если вспомнить, что за два года до него «Трутень» погибъ по желанію того же самаго автора комедіи «О, время»! Въ «Живописцѣ» во главу угла попрежнему была положена борьба съ крѣпостнымъ правомъ, борьба за права человѣка. Русская интеллигенція того времени, какъ мы уже сказали, впервые сумѣла выйти изъ узкихъ границъ сословныхъ интересовъ: будучи въ большинствѣ своемъ дворянской, она отказалась защищать тѣ свои сословные интересы, которые опирались на крѣпостное право. Это одна изъ причинъ, почему, напримѣръ, Татищевъ и люди его партіи—иногда люди весьма замѣчательные и образованные—не составляли интеллигенціи своего времени: точка зрѣнія ихъ была вполнѣ сословной и классовой. *Классовыя и сословныя общественныя группы только тогда стали «интеллигенціей», когда сумѣли стать выше своихъ классовыхъ и сословныхъ интересовъ.* Отказаться отъ сословной точки зрѣнія сумѣла только лучшая часть русскаго дворянства къ началу екатерининской эпохи.

Нагляднѣе всего это проявилось въ отношеніи къ крѣпостному праву. Новиковъ въ «Живописцѣ» напалъ на крѣпостное право съ гораздо большей рѣзкостью, чѣмъ бывало въ «Трутнѣ»: пересматривая листы «Живописца», часто читаешь какъ будто отрывки изъ «Путешествія» Радищева, сотрудничество котораго и предполагается въ этомъ журналѣ. Вотъ, напримѣръ, небольшой «Отрывокъ изъ путешествія»: «Бѣдность и рабство повсюду встрѣчались со мною во образѣ крестьянъ»—записываетъ неизвѣстный путешественникъ, и возмущается тѣмъ, что ропотъ можно услышать только изъ устъ грудныхъ младенцевъ. «Кричите, бѣдныя твари! произносите жалобы свои! Наслаждайтесь послѣднимъ симъ удовольствіемъ въ младенчествѣ: когда возму-

жаете, тогда и сего утѣшенія лишитесь»... («Живописецъ», листъ V). И въ заглавіи, и въ самомъ слогѣ вы слышите здѣсь Радищева [1]).

Въ нашу задачу не входитъ разсказъ о дальнѣйшихъ судьбахъ сатирическихъ журналовъ; мы ограничиваемся указаніемъ на нихъ, какъ на доказательство наличности силъ зародившейся русской интеллигенціи. Общественное теченіе, представительницей котораго она была, являлось теченіемъ глубоко анти-мѣщанскимъ уже по однимъ своимъ воззрѣніямъ на задачи и цѣли литературы. Для псевдоклассицизма литература была возвышеннымъ піитическимъ пареніемъ, настолько же безжизненнымъ, насколько и узкимъ; для Державина и его школы «забавнаго русскаго слога» литература была «любезна... какъ лѣтомъ сладкій лимонадъ»; для Новикова, Радищева (а отчасти Фонвизина и другихъ) литература—общественное служеніе, а потому она должна быть прежде всего жизненной и не заматорѣвшей въ засохшихъ формахъ. Отсюда и быстрота усвоенія наиболѣе удобной въ то время, жизненной и широкой формы сатирическихъ листковъ; отсюда и жизненность животрепещущаго содержанія, діаметрально противоположнаго квіетизму мѣщанства. Права человѣка—знамя этого теченія, наиболѣе рѣзкимъ представителемъ котораго явился немного позднѣе Радищевъ, а наиболѣе «литературнымъ» представителемъ—Фонвизинъ.

---

[1]) Обыкновенно эти строки приписываются Новикову, такъ какъ статья эта подписана «И. Т.»—т.-е., по предположенію, «Издатель Трутня». Гораздо вѣроятнѣе, однако, что этотъ «Отрывокъ изъ Путешествія» принадлежитъ перу *И. П. Тургенева*, на что указалъ еще Колюпановъ въ своей извѣстной «Біографіи А. И. Кошелева» (т. I. ч. I, стр. 30). Впрочемъ, Колюпановъ подчеркиваетъ только вѣроятность такого предположенія; возможное авторство Радищева еще не опровергнуто окончательно.

IV.

Фонвизинъ уже въ своемъ «Бригадирѣ», написанномъ годомъ раньше появленія сатирическихъ журналовъ, но годомъ позже изданія «Наказа» слегка касается общественныхъ вопросовъ, хотя главнымъ образомъ вся сила его насмѣшки обращена на галломанію современнаго ему общества. Но въ нѣкоторыхъ немногихъ мѣстахъ у него неожиданно прорывается сарказмъ болѣе серьезнаго тона. Такъ напримѣръ. Совѣтница неожиданно изрекаетъ одинъ изъ членовъ сословнаго символа вѣры; «мы всѣ дворяне, мы всѣ равны», говоритъ она вздыхая. Это именно та сословная обычная для XVIII вѣка точка зрѣнія, которая замѣняетъ права человѣка правами дворянина, по которой родъ человѣческій дѣлится на дворянъ и скотовъ, противъ которой съ такой энергіей возстала русская интеллигенція екатерининской эпохи. Фонвизинъ стоялъ въ ея рядахъ и хотя мелькомъ, но зато со всей силой своей ироніи подкапывался подъ самый фундаментъ сословно дворянскаго міровоззрѣнія—подъ крѣпостное право. Онъ списывалъ съ натуры яркія сценки, наглядно иллюстрирующія основную точку зрѣнія рабовладѣльческой массы; вотъ, напримѣръ, извѣстный діалогъ:

Бригадирша. Перемѣнимъ, свѣтъ мой, рѣчь. Пожалуй, скажи мнѣ, что у васъ идетъ людямъ: застольное или деньгами? свой ли овесъ ѣдятъ лошади, или купленный?

Сынъ. Сэ плюз-эньтерессанъ.

Совѣтница. Шутишь, радость. Я почему знаю, что ѣстъ вся эта скотина?»

То же самое и въ знаменитой сценкѣ изъ «Недоросля», гдѣ госпожа Простакова отъ души возмущается, что дѣвка Палашка заболѣла, лежитъ и

бредитъ: «Лежитъ! Ахъ, она бестія! Лежитъ! Какъ будто благородная!.. Бредитъ бестія! Какъ будто благородная!»

Вообще «Недоросль», въ интересующемъ насъ отношеніи, гораздо ярче «Бригадира», не говоря уже о другихъ произведеніяхъ Фонвизина; въ этомъ ясно сказался тотъ фактъ, что «Недоросль» появился черезъ десятокъ съ лишнимъ лѣтъ послѣ сатирическихъ листковъ (именно въ 1782 г.), и на немъ несомнѣнно отразилось ихъ вліяніе: это можно доказать вполнѣ убѣдительно и могло-бы составить содержаніе отдѣльной монографіи. Въ настоящее время мы не остановимся на этомъ, также какъ и на самой комедіи Фонвизина; не затрагивая ея бытовой стороны, мы скажемъ только объ ея общественномъ значеніи. Въ этомъ отношеніи «Недоросль» — продолженіе «Живописца», съ его задачей борьбы противъ крѣпостного права и, какъ частный случай этого, обличенія злоупотребленій помѣщичьей власти. Осужденіе произвола этой власти есть обвинительный приговоръ самому крѣпостному праву, и приговоръ этотъ Фонвизинъ произноситъ и косвенно и совершенно прямо. Косвенно — вся комедія построена на этой мысли; иронія автора направлена на госпожу Простакову — хотя бы въ приведенномъ выше ея восклицаніи. Но это было мало. Мало потому, что такимъ тонкимъ орудіемъ, какъ иронія, трудно было пронять средняго читателя и зрителя той эпохи, когда самая интеллигенція начинала только формироваться; кромѣ косвенныхъ путей протеста противъ крѣпостного права, необходимо было поставить точки надъ і: и вотъ для этого выводили на сцену какого-нибудь Стародума, добродѣтельными устами котораго авторъ могъ бы высказать прямо, непосредственно свои завѣтнѣйшія мысли. Такъ и въ «Недорослѣ» авторъ провозглашаетъ устами Ста-

родума, что «каждый долженъ искать своего счастія и выгодъ въ томъ одномъ, что законно... и что угнетать рабствомъ себѣ подобныхъ—беззаконно». Въ этихъ словахъ—вся суть. Не будемъ поэтому останавливаться подробно на міровоззрѣніи Стародума (Фонвизина-тожъ): въ немъ можно найти не мало и «мѣщанскаго»,—конечно, не въ сословномъ смыслѣ,—не мало узкихъ, часто наивныхъ взглядовъ и мнѣній. Но нужно принять во вниманіе и умственный кругозоръ громаднаго большинства изъ общества екатерининской эпохи—и мы тогда не удивимся, что публика горячо апплодировала Стародуму, который «съ важнымъ чистосердечіемъ» изрекалъ истины, въ родѣ: «должность! А! мой другъ!.. Подумай, что такое должность!.. Еслибъ такъ должность исполняли, какъ о ней твердятъ,—всякое состояніе людей осталось бы при своемъ любочестіи и было бы совершенно счастливо».

Какой, съ Божьей помощью поворотъ! Это уже не протестъ противъ крѣпостного права, а рецептъ самоусовершенствованія: это перифраза словъ Екатерины: «любезные сограждане! перестанемъ быти злыми»— и все пойдетъ великолѣпно. Это показываетъ, что Фонвизинъ колебался въ рѣшеніи вопроса о правахъ и интересахъ личности: съ одной стороны, «угнетать рабствомъ подобныхъ себѣ—беззаконно»; съ другой—самосовершенствованіе и исполненіе «должности» каждымъ могли бы дать счастіе и въ рабствѣ, и дворянство «осталось бы при своемъ любочестіи». Но все это имѣетъ для насъ второстепенное значеніе; важно подчеркнуть только основные взгляды Фонвизина. Каковы бы ни были его колебанія, его отрицательное отношеніе къ Франціи и революціи—но реакціонеромъ Фонвизинъ не былъ никогда. Въ главномъ пунктѣ его міровоззрѣніе оставалось ненарушимымъ: онъ почти всегда былъ убѣжденнымъ

противникомъ крѣпостного права, сатирикомъ «мѣщанскихъ» нравовъ и современнаго ему общества. Начиная съ проекта Императорскаго Совѣта, составленнаго имъ въ сотрудничествѣ съ Панинымъ и въ которомъ безъ обиняковъ осуждается крѣпостное право и защищаются свобода и права человѣка; продолжая «Недорослемъ» и другими болѣе мелкими вещами и кончая тѣми «Вопросами», которые вызвали такой гнѣвъ императрицы своимъ «свободоязычіемъ» — Фонвизинъ вездѣ въ общихъ чертахъ одинъ и тотъ же защитникъ и сторонникъ правъ человѣка, какъ равноправнаго члена общества. Это позволяетъ намъ поставить Фонвизина въ первый рядъ интеллигенціи, которая знаменемъ своимъ избрала общественность, основанную на свободѣ человѣка.

Кончаемъ съ Фонвизинымъ, отмѣчая одну характерную черту, характерную не только для него, но и для всѣхъ общественниковъ, особенно той эпохи. Общественники заботились главнымъ образомъ о благѣ «человѣка»; слово это они любили писать съ большой буквы, показывая этимъ, что ихъ интересуетъ не живая, реальная личность, а абстрактное цѣлое, общество. Въ Россіи XVIII-го вѣка взглядъ этотъ умѣрялся тѣмъ, что «человѣкъ» не добился еще самыхъ основныхъ своихъ правъ—внѣшней свободы личности; крѣпостная зависимость должна была пасть, чтобы русскій человѣкъ могъ свободно развивать свою личность. Вообще же общественники, независимо отъ отношенія къ крѣпостному праву, считали государство, общество и его интересы неизмѣримо болѣе важными, чѣмъ интересы живого человѣка, личности; абстрактный человѣкъ стоитъ у нихъ на первомъ планѣ, реальная личность на второмъ; почему-то считается очевиднымъ, что разъ удовлетворены интересы человѣка, то удовлетворена и личность; благо реальное приносится въ жертву

абстрактному благу. Болѣе того, для блага одной части общества приносится въ жертву благо другой его части. У Фонвизина есть по этому поводу интересное мѣсто въ небольшой пьескѣ «Выборъ гувернера», написанной послѣ событій 1789 г. Стародумъ этой комедіи, Нельстецовъ, требуетъ такой жертвы, признавая ее руководящимъ принципомъ общественной пользы: «необходимо надобно, чтобы одна часть подданныхъ для блага цѣлаго государства чѣмъ-нибудь жертвовала; слѣдственно—равенства состояній и быть не можетъ... всегда одна часть подданныхъ будетъ принесена въ жертву другой». . И это мнѣніе самого Фонвизина.

Что это за миѳическое «благо цѣлаго», ради котораго надо жертвовать благомъ слагаемыхъ частей?—объ этомъ общественники XVIII-го вѣка тщательно умалчивали; только органическая теорія общества, имѣвшая такой успѣхъ въ Россіи во второй половинѣ XIX вѣка, попробовала дать отвѣтъ на этотъ вопросъ. Пока же ясно только одно, что теорія общественниковъ о «благѣ цѣлаго», то-есть о благѣ абстрактнаго человѣка за счетъ блага реальной личности,—является глубоко анти-индивидуалистической теоріей. Фонвизинъ въ этомъ отношеніи является однимъ изъ самыхъ типичныхъ противниковъ индивидуализма. Интересно однако, что онъ не дѣлаетъ всѣхъ выводовъ изъ своего основного положенія. Кого принести въ жертву кому?—вотъ въ чемъ вопросъ. Большинство «общественниковъ» хотѣло, чтобы и волки были сыты и овцы цѣлы: чтобъ крѣпостное право пало и чтобы дворянство процвѣло. Это не отвѣтъ, а уклоненіе отъ отвѣта. Фонвизинъ даетъ болѣе опредѣленный критерій дальнѣйшими словами Нельстецова: «остается расчислить такъ, чтобы число жертвуемыхъ соразмѣрно было числу тѣхъ, для благополучія коихъ жертвуется». Слова

эти написаны въ перiодъ страха передъ событiями 1789 г., а потому и весьма консервативнаго отношенiя къ вопросамъ внутренней жизни Россiи; но видѣлъ ли Фонвизинъ, что эти его слова—новый подкопъ подъ крѣпостное право, при которомъ число жертвуемыхъ измѣрялось миллiонами, а «соразмѣрное» число благоденствующихъ - тысячами? Нечего и указывать на рѣзкiй анти-индивидуализмъ такого ариѳметическаго принципа, но пока еще дѣло не въ индивидуализмѣ; мы уже сказали, что до середины XIX вѣка вопросъ о *человѣкѣ* и *личности* не могъ быть вдвинутъ въ надлежащiя рамки, пока всепоглощающимъ общественнымъ вопросомъ былъ вопросъ освобожденiя миллiоновъ порабощенныхъ людей.

V.

Общественное теченiе русской интеллигенцiи ярче и рѣзче всего проявилось въ одной изъ наиболѣе замѣчательныхъ книгъ XVIII-го вѣка, въ «Путешествiи изъ Петербурга въ Москву» Радищева (1790 г.). Книга эта явилась только логическимъ развитiемъ и продолженiемъ того, что когда-то высказывалъ Новиковъ въ «Трутнѣ» и, быть можетъ, самъ Радищевъ въ «Живописцѣ». Черезъ всю книгу проходитъ основнымъ мотивомъ все тотъ же старый и вѣчно юный вопросъ, но здѣсь онъ подвергся уже дальнѣйшему развитiю; здѣсь раскрытiе злоупотребленiй помѣщичьей власти не является цѣлью произведенiя, но вопросъ поставленъ шире и рѣзче. Злоупотребленiе властью—это только темный фонъ картины; наличность «добродѣтельныхъ помѣщиковъ» не считается панацеей отъ крѣпостныхъ золъ, и вся книга—это сплошной вопль о незаконности крѣпостного права и о необходимости освобожденiя крестьянъ, будь даже всѣ помѣщики «добродѣтельны»...

«Человѣкъ родится въ міръ равенъ во всемъ другому. Всѣ одинаковые имѣемъ члены, всѣ имѣемъ разумъ и волю»... «Всѣ равны отъ чрева матерня въ природной свободѣ, равны должны быть и въ ограниченіи оной»... «Опомнитесь заблудшіе, смягчитеся жестокосердые! разрушьте оковы братіи вашей, отверзите темницу неволи и дайте подобнымъ вамъ вкусити сладости общежитія, къ нему же всещедрымъ уготованы яко же и вы. Они благодѣтельными лучами солнца равно съ вами наслаждаются, одинаковые съ вами у нихъ члены и чувства, и право въ употребленіи оныхъ должно быть одинаково»... («Путешествіе», гл. X и XV). Такими словами въ преддверіи XIX-го вѣка былъ высказанъ (хотя и не впервые) принципъ естественнаго права, тотъ самый принципъ, исповѣданіемъ котораго и закончился XIX-ый вѣкъ; конечно, разница между трансцендентально-нормативнымъ пониманіемъ естественнаго права въ концѣ XIX вѣка и примитивнымъ толкованіемъ его Радищевымъ—громадна. Разница эта станетъ еще болѣе глубокой по существу, если мы укажемъ на индивидуалистическое пониманіе принципа естественнаго права мыслителями конца XIX-го вѣка и на общественное, соціальное толкованіе его Радищевымъ.

Для Радищева «человѣкъ» есть нѣкоторый собирательный типъ, съ которымъ онъ оперируетъ, какъ съ математическимъ понятіемъ. Можно сказать, что для него реальная личность не существуетъ, или по крайней мѣрѣ не существенна: прежде всего его интересуетъ Человѣкъ, котораго онъ любитъ писать съ большой буквы. Въ то время какъ для индивидуалиста *личность* есть нѣчто глубоко реальное, вполнѣ конкретное, субъективное, безусловно недѣлимое, individuum, для общественника *человѣкъ* есть фикція, абстракція, сумма безконечныхъ многихъ

слагаемыхъ; для индивидуалиста личность есть нѣкоторый дифференціалъ, быть можетъ, нѣчто и безконечно малое (индивидуалистъ можетъ признавать роль личности въ исторіи весьма близкой къ нулю, хотя, замѣтимъ въ скобкахъ, дифференціалъ можетъ и не быть безконечно малымъ), но во всякомъ случаѣ личность для индивидуалиста есть нѣчто не суммарное, нѣчто самодовлѣющее цѣлое, въ то время какъ для общественника человѣкъ есть нѣкоторый интегралъ, сумма безконечнаго числа безконечно малыхъ элементовъ—личностей. Вотъ почему индивидуалистъ, доводя свою точку зрѣнія до послѣдняго предѣла, можетъ стать индифферентистомъ, а часто и реакціонеромъ и обскурантомъ въ общественномъ смыслѣ: человѣкъ, это ζῶον πολιτικόν, его мало интересуетъ; вотъ почему также крайній общественникъ съ полнымъ безразличіемъ относится къ вопросу о благѣ личности и часто становится крайнимъ антииндивидуалистомъ: личность для него—это «жертва вечерняя», которую безукоснительно можно и должно приносить Молоху общественной пользы.

Конечно, это двѣ крайности: ни интеллигенція конца XIX-го вѣка не была ультра-индивидуалистичной, ни Радищевъ и вообще интеллигенція конца XVIII-го вѣка не были ультра-общественными; но все же «человѣкъ» былъ главнымъ пунктомъ вниманія Радищева, подобно тому какъ «личность» болѣе всего занимала идеалистовъ конца XIX вѣка. Радищева всегда болѣе интересуетъ форма, чѣмъ содержаніе, его занимаетъ «гражданинъ» болѣе, чѣмъ «человѣкъ», «человѣкъ» болѣе, чѣмъ «личность». Правда, онъ заявляетъ, что «гражданинъ, становясь гражданиномъ, не перестаетъ быть человѣкомъ», что «гражданинъ, въ какомъ бы состояніи небо родиться ему ни судило, есть и пребудетъ всегда человѣкъ» («Путешествіе», гл. X; ср. съ 3 строф. оды «Воль-

ность» въ гл. XX); но главное свое вниманіе онъ сосредоточиваетъ именно на гражданинѣ, на правахъ гражданина и человѣка. Иначе и быть не могло въ то время, когда прежде всего приходилось бороться за права милліоновъ отдѣльныхъ личностей, не имѣвшихъ элементарныхъ правъ человѣка. Индивидуалистическое воззрѣніе стало въ широкихъ кругахъ русской интеллигенціи возможнымъ хотя до нѣкоторой степени только послѣ 19 февр. 1861 г.; до того же времени русскіе общественники, никогда не застывая на мертвой теоретичности, неизмѣнно торопились перейти отъ теоретической части своихъ воззрѣній къ практической, отъ теоріи правъ человѣка вообще—къ частному животрепещущему вопросу о правахъ русскаго крестьянина. Великая задача раскрѣпощенія человѣка до 60-хъ годовъ XIX-го вѣка спасала даже крайнихъ общественниковъ изъ среды русской интеллигенціи отъ безжизненной теоретичности, сказавшейся впервые именно въ концѣ 60-хъ годовъ въ теоріяхъ русскихъ учениковъ Спенсера. И самъ Радищевъ, несмотря на свое увлеченіе «человѣкомъ», никогда не впадалъ въ ту ошибку преклоненія предъ мертвой схемой, въ которую впадали многія группы русской интеллигенціи шестидесятыхъ-семидесятыхъ годовъ XIX-го вѣка. Впослѣдствіи Чернышевскій и Михайловскій, отстаивая основныя положенія народничества, боролись съ Молохомъ «національнаго богатства», которому эпигоны западничества готовы были жертвовать народнымъ благосостояніемъ; борьба эта велась за реальную личность и противъ абстрактнаго человѣка. Тѣмъ интереснѣе отмѣтить, что и «общественникъ» Радищевъ стоялъ принципіально на той же точкѣ зрѣнія, заявляя, что для него *важно не національное богатство, а народное благосостояніе.* Описывая («Путешествіе», гл. XVI) имѣніе одного помѣщика, хозяйство котораго было

въ цвѣтущемъ состояніи и который славился какъ «знаменитый земледѣлецъ», въ то время какъ крестьяне его голодали, Радищевъ обращается съ слѣдующими словами къ этому организатору «культурнаго» хозяйства: «варваръ! недостоинъ ты носить имя гражданина! Какая польза государству, что нѣсколько тысячъ четвертей въ годъ болѣе родится хлѣба, если тѣ, кои его производятъ, щитаются наравнѣ съ воломъ, опредѣленнымъ тяжкую вздирати борозду? Или блаженство гражданъ въ томъ почитаемъ, чтобы полны были хлѣба наши житницы, а желудки пусты? чтобы одинъ благословлялъ правительство, а не тысящи?.. И суть люди, которые, взирая на утучненныя нивы сего палача, ставятъ его въ примѣръ усовершенствованія въ земледѣліи!»... Здѣсь въ примитивной формѣ затронутъ тотъ мотивъ, которому впослѣдствіи суждено было стать лейтъ-мотивомъ русскаго народничества; это одно уже достаточно показываетъ, что Радищевъ никогда не жертвовалъ личностью ради человѣка, несмотря на всѣ свои общественныя тенденціи. Иначе и быть не могло со стороны того человѣка, душа котораго «страданіями человѣчества уязвленна стала»...

Но «уязвленный страданіями» человѣчества, ясно сознававшій *соціальную основу* этихъ страданій Радищевъ не менѣе ясно видѣлъ и то, что одно лишь *политическое освобожденіе* можетъ разрушить эту соціальную основу; недаромъ его ода «Вольность» является въ сущности первымъ *революціоннымъ* произведеніемъ русской литературы XVIII вѣка, недаромъ впослѣдствіи и Пушкинъ въ своей юношеской одѣ «Вольность» лишь «вслѣдъ Радищеву возславилъ свободу». Политическую борьбу Радищевъ въ этой одѣ своей продолжалъ столь-же далеко, сколь впослѣдствіи и декабристы: вплоть до призыва

къ цареубійству. И призывъ этотъ—въ первой же строфѣ оды:

О даръ небесъ благословенный,
Источникъ всѣхъ великихъ дѣлъ,
О вольность, вольность, даръ безцѣнный!
Позволь, чтобъ рабъ тебя воспѣлъ.
Исполни сердце твоимъ жаромъ,
И сильныхъ мышцъ твоимъ ударомъ
Во свѣтъ рабства тьму претвори,
Да Брутъ и Тель еще проснутся,
Сѣдяй во власти да смятутся
Отъ гласа твоего Цари.

Этотъ откровенный призывъ къ примѣру Брута и Телля еще усугубляется ироническими комментаріями самого же Радищева къ двумъ послѣднимъ стихамъ строфы: «желать смятенія царю,—пишетъ Радищевъ,—есть то же, что желать ему зла; слѣдовательно»... И на этомъ вполнѣ ясномъ многоточіи кончаетъ свои комментаріи.

Цареубійство, какъ послѣднее средство политическаго освобожденія народа—отъ Радищева черезъ декабристовъ дошло до Народной Воли конца XIX вѣка. И уже Радищевъ видѣлъ, что борьбу за свободу приходится вести не съ однимъ лишь абсолютизмомъ, не съ однимъ самодержавіемъ. «Храмъ Закона», въ представленіи Радищева, разрушаютъ два чудовища: «суевѣріе священное (религіозное) и политическое, подкрѣпляя другъ друга»...

Власть царска вѣру сохраняетъ,
Власть царску вѣра утверждаетъ,
Союзно общество гнетутъ.
Одинъ—сковать разсудокъ тщится,
Другая волю стерть стремится,—
«На пользу общую», рекутъ.

И вотъ «самодержавіе», сильное поддержкою «церкви»—«на грозномъ тронѣ властно сѣвши въ народѣ зритъ лишь подлу тварь»... Но Радищевъ предвидитъ время, когда придетъ революція, когда

«возникнетъ рать повсюду бранна», осилитъ двуглаваго «алчнаго гада» и приведетъ его на судъ «къ престолу, гдѣ народъ возсѣлъ»... Радищевъ знаетъ, что день этотъ еще далекъ, что «не пришла еще година, не совершилися судьбы»; онъ предсказываетъ,—и предсказаніе это пророчески сбылось и на немъ самомъ и на всей русской литературѣ XIX вѣка,—что самодержавіе еще не разъ «потщится» вырвать съ корнемъ зло революціи—«да грузнымъ махомъ все раздавитъ, и стражу къ словеси приставитъ, да будетъ горшая напасть»...

И все-таки, Радищевъ вѣритъ, придетъ революція — «день, избраннѣйшій всѣхъ дней»! Тогда, вмѣстѣ съ политическимъ освобожденіемъ, придетъ и соціальное уравненіе:

Сплетясь веселымъ хороводомъ,
Различія надменность снявъ,
Се паки подъ лазурнымъ сводомъ
Естественный встаетъ уставъ...

Такъ думалъ, такъ чувствовалъ Радищевъ въ тѣ дни, когда еще не успѣли отзвучать елейныя поученія Патрикея Правдомыслова о гражданской добродѣтели самоусовершенствованія и подчиненія «властямъ предержащимъ». И если вся русская интеллигенція слѣдующаго вѣка была революціонна, то Радищевъ въ этомъ смыслѣ является первымъ представителемъ преемственной группы русской интеллигенціи, первымъ революціонеромъ. Слабая по формѣ, но сильная по чувству «Вольность» Радищева открыла собою въ русской литературѣ борьбу за свободу человѣка—борьбу, въ которой цѣлымъ поколѣніямъ интеллигенціи суждено было найти славную гибель.

Первымъ погибъ самъ Радищевъ. Гибель свою онъ предчувствовалъ, онъ только хотѣлъ, чтобы память о немъ была связана съ мыслью о «вольности».

Да хладный прахъ мой осѣнится
Величествомъ, что днесь я пѣлъ;
Да юноша, взалкавый славы,
Пришедъ на гробъ мой обветшалый,
Дабы со чувствіемъ вѣщалъ:
«Подъ игомъ власти, сей рожденный,
«Нося оковы позлащенны,
«Намъ вольность первый прорицалъ»!

Желаніе Радищева исполнилось—до сихъ поръ мы вспоминаемъ о немъ, какъ о первомъ провозвѣстникѣ «вольности», какъ о первомъ революціонерѣ въ преемственной группѣ русской интеллигенціи, какъ о борцѣ за права человѣка и съ мелкодушнымъ мѣщанствомъ среды, и съ «алчнымъ гадомъ» абсолютизма.

Судьба, постигшая Радищева, слишкомъ извѣстна: представитель первой группы русской интеллигенціи, онъ сталъ и первымъ мученикомъ ея. Но зато книга его, завершившая собою теченіе русской литературно-общественной мысли XVIII-го вѣка, стала первымъ кирпичемъ того зданія, надъ постройкой котораго трудилась вся русская интеллигенція XIX-го столѣтія.

VI.

Первая ласточка не дѣлаетъ весны, но предвозвѣщаетъ ее, хотя и можетъ замерзнуть сама отъ вьюгъ и морозовъ. Радищевъ погибъ, но указалъ дорогу многимъ; преемственная связь въ группѣ русской интеллигенціи съ тѣхъ поръ не прекращалась. Однимъ изъ передовыхъ бойцовъ русской интеллигенціи послѣ группы Радищева является И. П. Пнинъ, типичный показатель связности и преемственности поколѣній интеллигенціи. Въ то время какъ блестящій и блещущій шумихой фразъ либерализмъ «Наказа» сыгралъ роль крыловской синицы и съ удивительной легкостью обратился въ послѣдователь-

нѣйшее реакціонерство и обскурантизмъ, въ среднихъ слояхъ русскаго общества создавалось шагъ за шагомъ опредѣленное общественное направленіе, не блещущее звонкими фразами, но не рискующее впасть въ «рецедивы обскурантизма». Вокругъ Новикова и Радищева мы замѣчаемъ тѣсный кружокъ такой интеллигенціи, и Пнинъ былъ однимъ изъ наиболѣе видныхъ наслѣдниковъ воззрѣній этого кружка. Его «Опытъ о просвѣщеніи» (1804 г.) показываетъ, какъ быстро шло развитіе русской интеллигенціи того времени; это уже не вопль «уязвленнаго» человѣка, а научный трактатъ, первая попытка построенія міровоззрѣнія. Правда, основныя положенія заимствованы у Бентама: это теорія утилитаризма («Опытъ о просвѣщеніи» стр. 12—15), это принятіе за цѣль—«величайшаго блаженства величайшаго числа людей» (Ib., 35); но дѣло не въ оригинальности воззрѣній, до которой русская интеллигенція дошла только въ сороковыхъ годахъ XIX-го столѣтія,—дѣло въ искренности убѣжденій. Пнинъ, подобно Радищеву, убѣжденный общественникъ. Хотя онъ и различаетъ человѣка отъ гражданина (Ib., 23), но не отличаетъ человѣка отъ личности; свободу онъ отожествляетъ съ анархіей и считаетъ ее метафизическимъ понятіемъ и исчадіемъ французской революціи (Ib., 26—7). Однако мы уже встрѣчаемъ у Пнина сознаніе необходимости синтеза личности и общества (Ib., 31). Синтезъ этотъ Пнинъ считаетъ возможнымъ произвести путемъ признанія *собственности* главнымъ принципомъ права; равенства существовать не можетъ это «исчадіе раздоровъ», а признаніе ненарушимаго принципа собственности ведетъ къ признанію личной безопасности гражданина, а главное—къ *освобожденію всѣхъ крестьянъ съ землей* (Ib., 33, 41—3,51—4 и др.) Исходя отъ совершенно другихъ основаній, Пнинъ пришелъ къ тому единственному выводу, ко-

торый въ свою очередь былъ основаніемъ всѣхъ воззрѣній русской интеллигеніи XVIII-го вѣка [1]). Эта общественная задача, стоявшая передъ русскимъ интеллигентомъ задача раскрѣпощенія человѣка, оттѣснила на задній планъ всѣ попытки личности выступить впередъ. Человѣкъ, какъ правовое отвлеченіе одного только начала свободы, и даже еще абстрактнѣе: человѣкъ, какъ представитель вида homo sapiens, какъ типъ—вотъ что главнымъ образомъ выдвигалось на первый планъ. У Пнина есть на эту тему интересная ода «Человѣкъ» (см. «Журналъ Россійской Словесности», 1805 г., № 1), служащая необходимымъ дополненіемъ знаменитой «Одѣ на вольность» изъ «Путешествія» Радищева (существуетъ мнѣніе, ничѣмъ однако не подтвержденное, что эта ода также принадлежитъ Пнину). Ода «Человѣкъ» — панегирикъ типичнаго и убѣжденнаго общественника обществу и человѣку, какъ представителю его; могущество мысли человѣка, его положеніе выше «всѣхъ существъ другихъ»—вотъ что восхваляетъ Пнинъ въ своей одѣ:

...Я Человѣка пѣть готовъ.
Природы лучшее созданье,
Къ тебѣ мой обращаю стихъ,
Къ тебѣ стремлю мое вниманье!
Ты краше всѣхъ существъ другихъ...

Казалось бы, что такая «антропоцентрическая» точка зрѣнія поможетъ подойти къ индивидуализму, покажетъ, *личность* является основнымъ началомъ, такъ высоко поднимающимъ *человѣка*. Но XVIII-ый вѣкъ не могъ смотрѣть на этотъ вопросъ такъ широко; онъ не понималъ, что такое «личность», а цѣнилъ одну изъ ея сторонъ, также отвлекая ее: мысль.

---

[1]) Эта точка зрѣнія Пнина, повидимому, заимствована имъ отъ Фихте—см. его «Основы естественнаго права» («Grundlage des Naturrechts», 1796 года, стр. 191).

Ты царь земли, ты царь вселенной,
Хотя ничто въ сравненьи съ ней;
Хотя ты прахъ одинъ возженный,
Но мыслію великъ своей!..
Какой умъ слабый, униженный
Тебѣ дать имя *червя* смѣлъ?
То рабъ нещастный, заключенный,
Который чувства не имѣлъ...
Прочь, мысль презрѣнная! ты сродна
Душамъ преподлыхъ лишь рабовъ!..

Всѣ эти риторическіе вопросы и непочтительные эпитеты по всей вѣроятности относятся къ Державину, который не упускалъ случая подчеркнуть человѣка. Мы увидимъ черезъ нѣсколько страницъ, что, несмотря на это, Державинъ былъ въ неизмѣримо большей степени индивидуалистомъ, чѣмъ Радищевъ или Пнинъ, такъ высоко ставящій человѣка; причина уже указана выше: не о живомъ человѣкѣ, не о личности говоритъ Пнинъ, а объ абстрактномъ человѣкѣ, о Человѣкѣ съ большой буквы.

Главной же цѣлью Пнина, какъ и Радищева является соціальное освобожденіе человѣка, путемъ разрушенія сковывающихъ его политическихъ цѣпей. И въ своей одѣ онъ сейчасъ же пользуется случаемъ свернуть на основную проблему политическаго и соціальнаго раскрѣпощенія человѣка:

Въ какомъ пространствѣ зрю ужасномъ.
Раба отъ *Человѣка* я:
Одинъ, какъ солнце въ небѣ ясномъ,
Другой такъ мраченъ, какъ земля.
Одинъ есть все, другой ничтожность,
Когда-бъ познала свою рабъ должность,
Спросилъ природу, разсмотрѣлъ—
Кто бѣдствій всѣхъ его виною?
Тогда бы тою же рукою
Сорвалъ онъ цѣпи, что надѣлъ.
Прими мое благоговѣнье,
Зиждитель-Человѣкъ! Прими..

Восхваляя видъ «homo sapiens», Пнинъ незамѣтно перешелъ къ мотивамъ «Оды на вольность»; но и въ томъ и въ другомъ случаѣ очевидно, что центръ

тяжести его мысли заключенъ въ человѣкѣ, а не личности, и въ этомъ отношеніи Пнинъ прямой наслѣдникъ Новикова и Радищева, типичный представитель народившейся русской интеллигенціи XVIII вѣка. Мы теперь на время простимся съ этимъ теченіемъ и снова вернемся къ нему, когда рѣчь будетъ идти о декабристахъ, подъ которыми мы подразумѣваемъ рядъ дѣятелей, дѣйствовавшихъ въ періодъ 1815—1825 г.: всѣ они, также какъ и Пнинъ, наслѣдники и продолжатели Радищева и его кружка; это люди, составлявшіе передовую часть внѣклассовой и внѣсословной интеллигенціи.

Мы видѣли, въ чемъ заключалась работа этой интеллигенціи въ преддверіи XIX-го вѣка: она заключалась въ борьбѣ за права человѣка; сатирическіе листки, Новиковъ, Радищевъ, Фонвизинъ, Пнинъ,—всѣ внесли сюда свою лепту. Мы знаемъ, что это теченіе мало интересовалось реальной личностью и признавало человѣка за нѣкоторый интегралъ; благо общества, благо милліоновъ, «величайшее блаженство величайшаго числа людей»—вотъ что было ихъ идеаломъ. Они были первыми «кающимися дворянами», они первые мучительно почувствовали страданія народа и задолго до Герцена и Тургенева дали ганнибалову клятву его освобожденія. Заслуги ихъ никогда не забудутся, а потому не для осужденія ихъ подчеркиваемъ мы еще разъ, что наша интеллигенція XVIII-вѣка, занимаясь «абстрактнымъ человѣкомъ», чаще всего не обращала вниманія на «реальную личность». Параллельно съ теченіемъ общественнымъ шло другое теченіе, пренебрегавшее человѣкомъ и благомъ народа, не заботившееся о милліонахъ рабовъ, не терзавшееся проклятыми соціальными вопросами, но мирно процвѣтавшее въ грубоватомъ эпикуреизмѣ; это теченіе, главнымъ представителемъ котораго былъ Державинъ,

обращало все свое вниманіе на реальную личность, на индивидуальность. Здѣсь мы видимъ зачатки индивидуализма — правда, однобокаго, наивнаго, дѣтскаго, но все же здѣсь именно лежитъ первое зерно положительнаго отношенія къ реальной личности, къ опредѣленной и живой индивидуальности.

VII.

На сѣромъ фонѣ сплошного литературнаго мѣщанства XVIII-го вѣка эти два теченія выдѣляются красными нитями. Анти-мѣщанство Новикова и Радищева было направлено противъ мѣщанства среды; Державинъ, вѣрный сынъ и представитель этой среды, явился протестомъ противъ литературнаго мѣщанства. До Державина поэзія была «способностью выражаться мѣрной рѣчью или стихами и созвучіями или риѳмами, въ украшенныхъ картинами и описаніями сочиненіяхъ, коихъ обыкновенная рѣчь не допускаетъ»: такъ опредѣляли въ XVIII-мъ вѣкѣ поэзію. Державинъ первый приблизилъ поэзію къ жизни; онъ первый вмѣсто надутыхъ, высокопарныхъ псевдо-классическихъ одъ сталъ писать «въ забавномъ русскомъ слогѣ», и первый придалъ своимъ произведеніямъ жизненное содержаніе проведеніемъ въ нихъ двухъ основныхъ идей, характеризующихъ всю его поэзію. Конечно, эти произведенія не составляютъ даже четверти его литературнаго багажа: все остальное написано въ мертвомъ ложно-классическомъ стилѣ; но, какъ въ одахъ Ломоносова прорывались искорки поэзіи, а значитъ и жизни, тамъ, гдѣ ему приходилось касаться любезныхъ его сердцу вопросовъ о «божественныхъ наукахъ» и «возлюбленной тишинѣ», такъ и у Державина жизнь и поэзія присутствуютъ тамъ, гдѣ онъ затрагиваетъ вопросъ о *личности*.

Конечно, это еще не вопросъ объ отношенiи личности къ обществу—до такого вопроса далеко не доросъ Державинъ, со своимъ дѣтскимъ эпикуреизмомъ; личность интересуетъ поэта главнымъ образомъ какъ объектъ для противопоставленiя понятiй *жизни* и *смерти* въ единичномъ, индивидуальномъ случаѣ. Жизнь и смерть реальной личности, особенно въ моментѣ ихъ столкновенiя, составили то содержанiе, которымъ Державинъ одухотворилъ поэзiю XVIII-го вѣка.

Литературная дѣятельность Державина начинается почти одновременно съ появленiемъ сатирическихъ листковъ, но первыя его произведенiя совершенно ничтожны и заключаютъ въ себѣ все мѣщанство псевдо-классицизма. Державинъ хотѣлъ «парить», хотѣлъ «красивымъ наборомъ словъ» достичь «велелѣпiя и пышности» (см. «Записки» Державина). Только въ 1779 г. появляется его знаменитая ода «На смерть князя Мещерскаго», въ которой опредѣленно звучатъ оба основныхъ мотива его поэзiи:

Глаголъ временъ! металла звонъ!
Твой страшный гласъ меня смущаетъ...

такимъ похороннымъ аккордомъ начинается эта ода, а кончается эпикуреистическимъ выводомъ:

Жизнь есть небесъ мгновенный даръ:
Устрой ее себѣ къ покою...

Вотъ и вся житейская философiя Державина: наивный эпикуреизмъ, покойная жизнь, безпрерывное наслажденiе, а впереди—страхъ смерти, такъ какъ

На свѣтѣ жить намъ время срочно...

Въ этомъ примитивномъ мiровоззрѣнiи мы видимъ ясные зачатки индивидуализма: на первый планъ выставляется реальная личность, наслаждаю-

щаяся, чувствующая и радость и боль, трепещущая передъ смертью и заглушающая свой страхъ «безперерывнымъ весельемъ»:

> Доколь текутъ часы златые
> И не приспѣли скорби злыя,—
> Пей, ѣшь и веселись, сосѣдъ!

Этотъ «сосѣдъ»—живая, реальная личность, а не тотъ абстрактный «Зиждитель-Человѣкъ», передъ которымъ благоговѣйно распростирался во прахѣ Пнинъ и за права котораго боролись Новиковъ и Радищевъ. Правда, и они видѣли въ крестьянинѣ живого человѣка, страдали за него, отдавали ему свою душу, но одинъ тотъ фактъ, что этихъ страдающихъ крестьянъ были милліоны, невольно заставлялъ производить абстракцію, такъ что реальная личность часто пропадала за абстрактнымъ Человѣкомъ. У Державина наоборотъ—мы не найдемъ никакого интереса къ человѣку, къ человѣчеству, къ обществу: въ его наивномъ эпикуреизмѣ сквозитъ крайній индивидуализмъ, въ его узкомъ эгоизмѣ крѣпко засѣло мѣщанство, но все-таки въ его поэзіи впервые, въ дымкѣ эпикуреизма, выставлена реальная личность. Къ реальнымъ людямъ, а не къ человѣчеству обращается Державинъ со своей проповѣдью:

> Вкушать спѣшите блага свѣта:
> Теченье кратко нашихъ дней...

Вы слышите въ этой проповѣди страхъ смерти— вторую основную тему поэзіи Державина, тѣсно переплетенную съ эпикуреизмомъ: «вѣкъ нашъ—тѣнь», заявляетъ поэтъ, «смерть къ намъ смотритъ чрезъ заборъ», такъ что «мы только плачемъ и взываемъ: о, горе намъ, рожденнымъ въ свѣтъ»... Если все это такъ, то... то выводъ получается самый неожиданный:

> Увы!—то какъ не умудриться
> Хоть разъ цвѣтами не увиться

И не оставитъ мрачный взоръ?..
Такъ будемъ жизнью наслаждаться
И тѣмъ, чѣмъ можемъ, утѣшаться...

Все это мелко, все это наивно—но все это жизненно и правдиво. Восемнадцатый вѣкъ былъ вѣкомъ рабства милліоновъ и эпохой «пиршественныхъ кликовъ» немногихъ счастливцевъ; и если «общественники» боролись за права милліоновъ, то Державинъ былъ выразителемъ жизни великолѣпныхъ трутней, «сыновъ роскоши, прохладъ и нѣгъ»; реальная личность нашла въ немъ своего поэта [1]).

Кстати замѣтить, что къ вопросу о значеніи человѣка и личности въ общемъ ходѣ жизни индивидуалистическое и общественное теченія относились также совершенно различно, причемъ первое теченіе приравнивало человѣка нулю, въ то время какъ второе возносило его на недосягаемую высоту. Мы увидимъ впослѣдствіи, что вопросъ «о роли личности въ исторіи» совершенно различенъ отъ проблемы индивидуализма, такъ что часто случается, что индивидуалисты совершенно отрицаютъ роль личности въ исторіи, въ то время какъ анти-индивидуалисты придаютъ ей большое значеніе. Такъ было и въ данномъ случаѣ. Слишкомъ извѣстно, что такое человѣкъ, личность для Державина—совершенное ничто, «прахъ», «червь»; мы знаемъ также, какъ отвѣтилъ на это типичный общественникъ Пнинъ:

Хотя ты прахъ одинъ возженный,
Но мыслію великъ своей,—

сказалъ онъ, обращаясь къ человѣку, и попутно косвеннымъ образомъ непочтительно назвалъ Державина «нещастнымъ заключеннымъ» и «преподлымъ

[1]) Подробное развитіе намѣченныхъ здѣсь взглядовъ дано въ нашей статьѣ «Державинъ», вошедшей въ книгу «Пушкинъ и Бѣлинскій» (Спб., 1916 г.).

рабомъ». Этотъ «преподлый рабъ», конечно, ничего не понималъ въ общественныхъ вопросахъ (что не помѣшало ему потомъ сдѣлаться министромъ), но все-таки въ его поэзіи впервые выглянула на свѣтъ божій изъ-подъ ложно-классическаго ига реальная, живая личность. Въ этомъ отношеніи въ Державинѣ замѣчательны не только проблески индивидуализма, но и его несомнѣнное—хотя и безсознательное—литературное анти-мѣщанство.

VIII.

Восемнадцатый вѣкъ—лучшее и наиболѣе ясное предисловіе ко всей русской жизни и литературѣ XIX-го вѣка. Индивидуалистическое и общественное теченія, переплетавшіяся, боровшіяся и сливавшіяся на всемъ протяженіи послѣдняго вѣка, проявились уже въ восемнадцатомъ столѣтіи. Знамя Радищева—человѣкъ, Державина—личность; синтезъ этихъ началъ—вотъ задача, поставленная на разрѣшеніе грядущимъ поколѣніямъ русской интеллигенціи. Какъ разрѣшалась эта задача, какъ попеременно ставились впередъ то человѣкъ, то личность—все это составляетъ содержаніе исторіи русской общественной мысли.

Итакъ, въ восемнадцатомъ вѣкѣ мы уже имѣемъ постановку той проблемы, надъ рѣшеніемъ которой истратила такъ много силъ интеллигенція XIX вѣка. Проблема о личности и обществѣ родилась одновременно съ появленіемъ русской интеллигенціи, и сразу, съ самаго начала опредѣлились тѣ три основныхъ теченія, которыя только и могутъ возникнуть при рѣшеніи этой проблемы. Первое—общественность, выставленіе на первый планъ «человѣка»; если теченіе это въ то же время совершенно игнорируетъ

«личность», то оно становится анти-индивидуализмомъ. Второе—индивидуализмъ, выставленіе на первый планъ «личности»; если теченіе это въ то же время совершенно игнорируетъ «человѣка», то оно впадаетъ въ крайности ультра индивидуализма. Третье, наконецъ,—синтезъ индивидуализма и общественности; въ зависимости отъ того, что преобладаетъ въ этомъ синтезѣ, человѣкъ или личность, онъ можетъ носить индивидуалистическій или анти-индивидуалистическій характеръ. Все это можно прослѣдить и на явленіяхъ русской жизни и литературы XVIII вѣка. Въ наивномъ эпикуреизмѣ Державина—зародышъ крайняго индивидуализма; въ сатирическихъ листкахъ и въ произведеніяхъ Новикова, Фонвизина, Радищева, Пнина—начало общественнаго теченія. Задача синтеза ихъ стала задачей русской интеллигенціи всего XIX вѣка. Такимъ образомъ въ этихъ основныхъ теченіяхъ XVIII-го вѣка лежатъ всѣ зерна литературнаго и общественнаго развитія слѣдующаго столѣтія, такъ что въ преддверіи XIX-го вѣка мы знакомимся со схемой дальнѣйшей эволюціи русской мысли и направленія русской интеллигенціи: «какъ солнце въ малой каплѣ водъ» здѣсь отразилось все будущее русской жизни и литературы.

Не надо забывать однако, что теченія эти были дѣйствительно «малой каплей водъ» въ томъ безконечномъ болотѣ общественнаго и литературнаго мѣщанства, которое составляло общій сѣрый фонъ XVIII-го вѣка. Новиковъ, Радищевъ, Державинъ, Фонвизинъ, Пнинъ и немногіе другіе—вотъ имена литературныхъ и общественныхъ дѣятелей, сумѣвшихъ выбраться изъ мѣщанскаго болота. Ложноклассицизмъ, такъ мѣтко названный Бѣлинскимъ «мѣщанствомъ во дворянствѣ», былъ деспотически царившей литературной формой; XVIII-й вѣкъ

вполнѣ заслуживаетъ поэтому названія *эпохи литературнаго мѣщанства*. Какъ это мѣщанство, такъ и анти-мѣщанскія теченія вполнѣ опредѣлили собой направленіе литературной и общественной эволюціи XIX вѣка.

Направленіе это заключается прежде всего въ борьбѣ съ литературнымъ мѣщанствомъ: появляются сентиментализмъ, романтизмъ; Пушкинъ заканчиваетъ собою этотъ періодъ борьбы съ мѣщанствомъ формы. Въ то же самое время идетъ борьба и за содержаніе этихъ формъ, идетъ борьба за человѣка и за личность. Эпоха литературнаго мѣщанства вызвала протестъ и борьбу, въ которой окрѣпли и выросли проблемы индивидуализма и общественности, заполнившія своимъ содержаніемъ весь девятнадцатый вѣкъ и составляющія въ исторіи своего развитія основное содержаніе исторіи русской интеллигенціи.

Сентиментализмъ и романтизмъ.

I.

Въ русской литературѣ и жизни XIX-ый вѣкъ начался сентиментализмомъ, сразу разорвавшимъ ржавыя цѣпи старыхъ литературныхъ формъ. Минуло сто лѣтъ — и мы теперь нѣсколько легкомысленно относимся къ этой замѣчательной эпохѣ русской литературы: подъ сентиментализмомъ мы чаще всего понимаемъ нѣчто слезоточивое, чувствительное, приторно-сладкое, и такимъ образомъ изъ-за деревьевъ не видимъ лѣса, не видимъ того глубокаго значенія, которое имѣлъ сентиментализмъ для своего времени и имѣетъ до сихъ поръ въ исторіи развитія русской интеллигенціи.

Ядро русской интеллигенціи, образовавшееся вокругъ шестидесятниковъ и семидесятниковъ XVIII-го вѣка, хотя и было средне-дворянскимъ по своему сословному составу, но по своимъ задачамъ и цѣлямъ было внѣсословнымъ и внѣклассовымъ. Тѣмъ не менѣе рознь между интеллигенціей и высшими общественными классами становилась чѣмъ дальше, тѣмъ больше: интеллигенція не могла удовлетвориться той литературной пищей, которой питались разные «сыны роскоши, прохладъ и нѣгъ». Ложно-классицизмъ, это излюбленное дѣтище высшаго дворянства и аристократіи, мало-по-малу сталъ ихъ enfant terrible, послѣ того какъ его мертвящій шаблонъ, его мѣщанство дошли до крайнихъ предѣловъ. Появились различные Петровы, Хвостовы и tutti

quanti: дальше идти было некуда... Новый общественный слой предъявилъ литературѣ иныя требованія, явился выразителемъ иныхъ идеаловъ: героическіе идеалы ложно-классицизма были замѣнены *гумманическими* идеалами сентиментализма.

Идеологія средняго дворянства и высшаго мѣщанства (въ сословномъ значеніи) — такова соціологическая подпочва сентиментализма, но *только подпочва*, подчеркиваемъ это, а не непосредственная суть его. Вполнѣ естественнымъ является поэтому тотъ фактъ, что именно средне-дворянская интеллигенція второй половины XVIII-го вѣка явилась первой выразительницей настроеній сентиментализма. Историку литературы чрезвычайно заманчиво остановиться подробно на разборѣ сентименталистическихъ вѣяній еще въ сатирическихъ листкахъ Новикова, но мы должны пройти мимо этой литературной эмбріологіи. Достаточно указать на глубокую связь съ сентиментализмомъ одного изъ замѣчательнѣйшихъ членовъ Новиковскаго кружка, Радищева; не говоря о томъ, что «Путешествіе» Радищева является по формѣ сколкомъ съ «Сентиментальнаго путешествія» Стерна, оно и по содержанію, по тону, по «гуманическимъ» идеаламъ, по «трогательнымъ» и чувствительнымъ эпизодамъ есть первое произведеніе нарождающагося русскаго сентиментализма.

Однако евангеліемъ русскаго сентиментализма считается, и вполнѣ справедливо, не «Путешествіе» Радищева, а одновременныя ему «Письма русскаго путешественника» Карамзина: только въ этомъ произведеніи (1789—1790 гг.) впервые проявился весь сентиментализмъ въ своемъ цѣломъ, со своими сильными и слабыми сторонами, только Карамзинъ можетъ считаться полнымъ представителемъ русскаго сентиментализма, только познакомившись съ нимъ, мы будемъ имѣть возможность подвести итоги и

сдѣлать выводы, связывающіе сентиментализмъ съ исторіей общественной мысли.

«Письма русскаго путешественника» начинаютъ собою XIX-й вѣкъ въ русской литературѣ, создаютъ эпоху. Это одинаково справедливо и въ области формы, и въ области содержанія. Давно уже стало общимъ мѣстомъ, что Карамзинъ реформировалъ русскій языкъ, влилъ новое содержаніе въ обновленныя формы, оказалъ безпримѣрно сильное вліяніе на всю русскую литературу; уже по одному этому съ Карамзина «должно полагать начало русской литературы... Карамзинъ явился преобразователемъ языка и стилистики... началъ писать языкомъ общества»... Эти слова Бѣлинскаго сохранили свою силу до настоящаго времени: дѣйствительно, русская литература какъ общественно-культурная сила появилась на свѣтъ только послѣ стилистическаго переворота Карамзина. Въ эпоху ложно-классицизма русская литература была роскошью, въ лучшемъ случаѣ была пріятна и полезна, какъ лѣтомъ сладкій лимонадъ; для общественно просвѣтительнаго кружка Новикова и Радищева литература была уже орудіемъ борьбы, но она была закована въ такіе стилистическіе тиски, которые дѣлали безплодной всякую попытку общественнаго воздѣйствія въ широкихъ размѣрахъ. Достаточно вспомнить неуклюжій, заплетающійся книжный языкъ замѣчательной книги Радищева. Русская интеллигенція XVIII-го вѣка была трибуномъ по духу и заикой по рѣчи, она была Демосѳеномъ съ камешками во рту. Понятно громадное значеніе Карамзина, который впервые заговорилъ въ литературѣ разговорнымъ языкомъ интеллигенціи своего времени: только съ этихъ поръ стало возможнымъ общественное значеніе литературы; литература изъ роскоши стала потребностью, о чемъ достаточно ясно свидѣтельствуетъ хотя бы исторія

журналистики. Послѣ реформы литературной и стилистической, въ эпоху если не великихъ, то во всякомъ случаѣ коренныхъ государственныхъ реформъ начала XIX-го вѣка, литературная и общественная жизнь закипѣла. Правительственный терроръ 1796—1801 гг. на короткое время подавилъ всѣ проявленія жизни, но послѣ него она проявилась съ тѣмъ большей силой. Журналы «Вѣстникъ Европы» Карамзина (1802 г.) «Московскій Меркурій» (1803 г.) «Сѣверный Вѣстникъ» (1804 г.), «Журналъ Россійской словесности» (1805 г.) «Московскій Зритель» (1806 г.) «Лицей» (1806 г.) и т. п. имѣли иногда свыше тысячи подписчиковъ. Литература стала потребностью, она въ дѣйствительности получила общественное значеніе; заслуга Карамзина въ этомъ отношеніи достаточно значительна, чтобы быть отмѣченной.

Все это, однако, мимоходомъ; намъ интересна не новая литературная форма и не стилистическая реформа, а новая идеологія, новое вино, влитое въ новые мѣха. Бѣлинскій остроумно замѣтилъ, что въ Карамзинѣ галлицизмъ выраженій былъ только слѣдствіемъ галлицизма его мыслей, новая форма была только слѣдствіемъ новаго содержанія, содержаніе же это (въ «Письмахъ русскаго путешественника») также создало собой эпоху. Обратимся же къ «Письмамъ» Карамзина и посмотримъ въ чемъ главное ихъ содержаніе. характеризующее собою сентиментализмъ; посмотримъ, почему эти «Письма» — «произведеніе великое», по мнѣнію того же Бѣлинскаго.

II.

«Письма русскаго путешественника» — произведеніе постольку «великое», поскольку глубоко «гуманическое», въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова; всякій иной масштабъ обращаетъ эти «Письма»

въ легкую болтовню о томъ, о семъ, а больше ни о чемъ. Двадцатилѣтній Карамзинъ вынесъ изъ своего путешествія чисто внѣшнія впечатлѣнія и вернулся домой съ тѣмъ же нравственнымъ багажемъ, съ которымъ и уѣхалъ въ путешествіе. Онъ посѣщалъ музеи, театры, сады, знакомился съ выдающимися литературными и общественными дѣятелями Запада, изумлялся, благоговѣлъ, проливалъ вѣжныя слезы въ объятіяхъ Натуры—и тщательно заносилъ все это въ свою записную книжку. Онъ «обогащалъ свой умъ» бесѣдами съ Кантомъ, Виландомъ, Лафатеромъ, Платнеромъ, Гердеромъ, но къ этимъ бесѣдамъ Карамзина побуждало только одно любопытство и желаніе «имѣть въ душѣ своей образъ» европейской знаменитости: неудивительно послѣ этого, что съ Кантомъ Карамзинъ ведетъ разговоръ о Китаѣ (!) и добродушно сознается, что въ Кантѣ «все просто, кромѣ... его Метафизики» (письмо отъ 19 іюня 1789 г.). Всѣ впечатлѣнія ложились поверхностными штрихами на неглубокую душу Карамзина; достаточно указать на тотъ фактъ, чрезвычайно для насъ интересный что, пробывъ въ Парижѣ съ марта по іюль 1790 г., т.-е. въ самый разгаръ великой революціи, онъ заполняетъ свои письма описаніемъ различныхъ садовъ и музеевъ и только передъ самымъ отъѣздомъ удосуживается побывать въ Національномъ Собраніи. Интересно, что Національное Собраніе оставило на Карамзинѣ слѣдующее впечатлѣніе: «вообще въ засѣданіяхъ нѣтъ ни малой торжественности, никакого величія, но многіе риторы говорятъ краснорѣчиво»... И только! Стоило ли ѣздить такъ далеко, чтобы обогатить свой умъ и сердца читателей такими мизерными впечатлѣніями отъ міровыхъ историческихъ событій? И не вспоминаются ли при чтеніи писемъ Карамзина донесенія русскихъ посольствъ XVII в. изъ Испа-

ніи, Италіи и Франціи о томъ, что въ «Санжарменѣ» видѣли они «воды взводныя», во Флоренціи ѣли яичницу изъ страусова яйца, а въ Испаніи были удивлены тѣмъ, что «пьяные не валяются и не кричатъ по улицамъ»?

Если мы подробно изучимъ «Письма русскаго путешественника» съ такой точки зрѣнія, то неизбѣжно придемъ къ вполнѣ справедливому заключенію, что сентиментализмъ Карамзина представляетъ изъ себя явно регрессивное движеніе въ области интеллектуальнаго развитія русской интеллигенціи. Нечего и сравнивать Карамзина съ такими выдающимися представителями русской интеллигенціи, какъ Новиковъ или Радищевъ, нечего и сравнивать по глубинѣ мысли «Путешествіе» послѣдняго съ поверхностной болтовней русскаго путешественника въ его письмахъ: достаточно сравнить письма Карамзина съ письмами изъ-за границы Фонвизина, побывавшаго въ тѣхъ же краяхъ незадолго до Карамзина. Письма Фонвизина несравненно глубже и серьезнѣе, взгляды шире и опредѣленнѣе; онъ описываетъ политическое состояніе Франціи, отмѣчаетъ общественныя настроенія, сравниваетъ, сопоставляетъ, выводитъ заключенія (см., напр., его письма отъ 24 дек. 1777 г., 15 янв. 1778 г. и др.). И все-таки письма Фонвизина имѣютъ самое ограниченное историко-литературное значеніе, въ то время какъ письма Карамзина создали не только литературную, но и идеологическую эпоху.

Прежде всего надо отмѣтить, что если Карамзинъ сдѣлалъ большой шагъ назадъ въ области общественно-интеллектуальнаго развитія русской интеллигенціи, то одновременно онъ далеко шагнулъ впередъ въ области созданія новыхъ обширныхъ круговъ этой интеллигенціи, въ области созидательной пропаганды. При низкомъ уровнѣ развитія читаю-

щей публики только поверхностное, не глубокое, но въ то же время «занимательное» произведеніе могло широко разойтись по читающей Россіи. Мы уже отмѣтили роль Карамзина въ области созданія кадровъ новой интеллигенціи и значеніе его стилистической реформы; теперь буквально то же самое можно повторить и о содержаніи, вложенномъ въ новыя формы. Но такое педагогическое значеніе сентиментализма должно быть отмѣчено только мимоходомъ; основной вопросъ заключается во внутреннемъ смыслѣ этого литературнаго теченія, и выше мы уже указали, съ какимъ масштабомъ слѣдуетъ подходитъ къ Карамзину, чтобы составить вѣрное понятіе о значеніи сентиментализма.

Сентиментализмъ, сказали мы, есть теченіе «гуманическое», въ самомъ широкомъ значеніи этого слова: *въ сентиментализмѣ впервые реальная личность выступаетъ впередъ изъ-за абстрактнаго человѣка.* Вмѣстѣ съ этимъ сентиментализмъ въ высокой степени синтетиченъ и въ этомъ отношеніи вполнѣ противоположенъ аналитическому характеру раціоналистическихъ литературныхъ теченій XVIII-го вѣка. Въ этихъ двухъ пунктахъ выражена основная идеологическая сущность сентиментализма.

Начнемъ съ синтетической тенденціи этого направленія. И русскій, и западно-европейскій сентиментализмъ былъ реакціей не только противъ ложноклассицизма, о чемъ и рѣчь будетъ далѣе, но вмѣстѣ съ тѣмъ и противъ того раціоналистическаго направленія, которое господствовало въ XVIII-мъ столѣтіи. Русскій сентиментализмъ не могъ быть рѣзко анти-раціоналистичнымъ, подобно западному, уже по одному тому, что у насъ не было рѣзко выраженнаго раціонализма: наши «вольтерьянцы», чаще всего принадлежавшіе къ аристократіи, не входили въ составъ интеллигенціи, а раціонализмъ возникающей

интеллигенціи стыдливо драпировался въ складки полу-мистическаго, полу-раціоналистическаго масонства. Поэтому и русскій сентиментализмъ не былъ воинственно анти-раціоналистическимъ (отмѣтимъ въ скобкахъ, что самъ Карамзинъ, членъ масонскаго общества, относился вполнѣ враждебно къ мистицизму); однако нельзя не видѣть реакціи противъ раціонализма въ томъ отношеніи къ окружающему міру, какое проявилъ сентиментализмъ въ провозглашеніи примата чувства надъ разумомъ, сердца надъ умомъ. Сентиментализмъ не разсѣкаетъ, не анализируетъ, не разлагаетъ сложныя окружающія явленія на составныя части, но, наоборотъ, стремится соединить ихъ въ одно, обнять ихъ единымъ порывомъ чувства. Здѣсь кроется разгадка того чуткаго и любовнаго отношенія къ природѣ, которое характерно для сентиментализма; мѣсто ложно-классическаго шаблона, холодной напыщенности и ходульности заступаетъ *человѣческое* отношеніе къ окружающему міру, простое и искреннее восхищеніе самыми обыденными картинами окружающей природы. «Вечеръ пріятенъ. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ корчмы течетъ чистая рѣка. Берегъ покрытъ мягкою зеленою травою и осѣненъ въ иныхъ мѣстахъ густыми деревами. Я отказался отъ ужина, вышелъ на берегъ и вспомнилъ одинъ московскій вечеръ, въ который, гуляя съ Петровымъ, подъ Андроньевымъ монастыремъ, съ отмѣннымъ удовольствіемъ смотрѣли мы на заходящее солнце» (письмо отъ 1 іюня 1789 г.). Это новыя мысли, новыя чувства, новыя воспріятія: Карамзинъ способенъ «съ отмѣннымъ удовольствіемъ» любоваться переливами красокъ заката и передавать читателю эти свои простыя, человѣческія «чувства изящнаго», въ то время какъ въ XVIII-мъ вѣкѣ на ту же тему мы слышали только холодныя, напыщенныя восклицанія, въ родѣ:

Лицо свое скрываетъ день,
Поля покрыла мрачна ночь,

и т. п. Въ сентиментализмѣ передъ нами синтезъ всего въ единомъ чувствѣ, простое человѣческое отношеніе ко всему окружающему; любовное отношеніе къ природѣ сквозитъ повсюду, вездѣ слышится чуткое пониманіе и умѣніе искренно наслаждаться «прелестной Натурой» (см. письма отъ 12 іюля; 2, 9, 14 авг.; 26 авг.—10 сент.; 8 ноября 1789 г. и др.). Карамзинъ не любитъ пышныхъ, «ложно-классическихъ» садовъ такъ называемаго ленотровскаго типа (Версаль), не любитъ искусственныхъ пригорковъ и каскадовъ, размѣренныхъ и подстриженныхъ аллей: «не ищите природы въ садахъ Версальскихъ», говоритъ онъ, признавая за этими садами «холодное великолѣпіе», и сейчасъ же восхищается «милымъ» садомъ Тріанона, въ которомъ «нигдѣ нѣтъ холодной симметріи; вездѣ безпорядокъ, простота и красоты сельскія» (іюнь, 1790 г.). Для знакомства съ окружающей «Натурой» Карамзинъ идетъ не въ Ботаническій садъ (какъ это сдѣлаетъ впослѣдствіи въ Капштадтѣ мѣщанинъ Гончаровъ), но уходитъ для этого изъ города: «въ шестомъ часу вышелъ я за городъ съ покойнымъ и веселымъ духомъ; бросился на траву бальзамическаго луга, наслаждался утромъ—и былъ щастливъ»! (письмо отъ 17 іюля 1789 г.).

Во всемъ этомъ мы видимъ тѣ два характерныхъ признака сентиментализма, которые были отмѣчены нами выше: во-первыхъ, синтетичность и признаніе примата чувства, во-вторыхъ, выступленіе на первый планъ реальной личности. Послѣднее мы должны особенно подчеркнуть, ибо въ этомъ выставленіи впередъ человѣческой личности и заключается главная интересующая насъ сторона сентиментализма, его яркое и сильное «гуманическое» направленіе.

«Всѣ люди—братья», Это проповѣдуемое сентиментализмомъ положеніе выясняетъ, что связь между «Путешествіемъ» Радищева и «Бѣдной Лизой» Карамзина болѣе глубока, чѣмъ полагаютъ обыкновенно: признаніе человѣческаго достоинства въ каждомъ индивидуумѣ—вотъ связующее ихъ звено, вотъ основной принципъ сентиментализма. «...Познается, что самый забитый, послѣдній человѣкъ есть тоже человѣкъ, называется братъ мой»: этими словами Достоевскаго (по поводу сентиментальнаго произведенія его юности, «Бѣдныхъ людей») лучше всего характеризуется святое святыхъ и Радищева и Карамзина. То самое, что Радищевъ выводилъ изъ принциповъ естественнаго права, Карамзинъ переживалъ непосредственнымъ чувствомъ (не забудемъ однако, что и у Радищева «душа страданіями человѣчества уязвленна стала»); оба они близки къ величайшему требованію этики о самоцѣльности человѣческой личности. *Сентиментализмъ явился первой ступенью къ этическому индивидуализму*, и недаромъ величайшій этическій индивидуалистъ русской (а быть можетъ и всемірной) литературы, Достоевскій, началъ свои первые шаги съ типично-сентиментальнаго произведенія (конечно, написаннаго уже въ реалистическихъ формахъ). Мы не хотимъ этимъ сказать, что Карамзинъ былъ хотя бы въ малѣйшей степени сознательнымъ «этическимъ индивидуалистомъ»: отъ принципа «всѣ люди—братья» до нормы «человѣкъ—самоцѣль»—дистанція огромнаго размѣра; вспомнимъ, что типичный общественникъ, Фонвизинъ, проповѣдуя всеобщее братство людей, въ то же время не задумываясь жертвовалъ одной частью государства для блага другой. У автора «Писемъ русскаго путешественника» и «Бѣдной Лизы» не было подобныхъ анти-индивидуалистическихъ тенденцій, но, конечно, не было и сколько-

нибудь ясно выраженнаго этическаго индивидуализма; сентиментализмъ только по общему своему духу и направленію является предтечей индивидуализма въ этикѣ. «Человѣкъ великъ духомъ своимъ»—говоритъ Карамзинъ («Переписка Мелодора и Филалета, 1795 г.), и это признаніе абсолютнаго значенія человѣческой личности, характерное для сентиментализма, сближаетъ его съ индивидуализмомъ, признающимъ за личностью суверенныя права на собственное «я». Во всякомъ случаѣ личность стояла для Карамзина впереди всего; правда, онъ заявляетъ, что «человѣкъ самъ по себѣ есть фрагментъ или отрывокъ: только съ подобными ему существами и съ природою составляетъ онъ цѣлое», но это показываетъ только, какъ далекъ былъ Карамзинъ отъ того наивнаго соціологическаго номинализма, въ которомъ до извѣстной степени былъ грѣшенъ раціоналистическій XVIII-ый вѣкъ. Въ то же самое время Карамзинъ всегда ставилъ личность выше общества, выше народа, выше національности, «гуманическіе» принципы брали верхъ надъ всѣмъ: «все *народное* ничто передъ *человѣческимъ*,—подчеркиваетъ онъ:—главное быть *людьми*, а не Славянами» («Письма русск. путеш.»; мартъ—май 1790 г.).

Вотъ съ этой-то точки зрѣнія «Письма русскаго путешественника» дѣйствительно «произведеніе великое», ибо насквозь проникнутое «гуманическими» идеалами, сентиментализмъ есть теченіе дѣйствительно замѣчательное и имѣющее глубокое значеніе, ибо служащее первой ступенью къ этическому индивидуализму. Сентиментализмъ впервые подошелъ къ реальному человѣку отъ человѣка-интеграла, Человѣка съ большой буквы, и въ то же время былъ далекъ отъ того наивнаго эпикуреизма, съ какимъ относилась къ реальной личности поэзія Державина. Конечно, «реальная личность» сентиментализма очень

часто является вполнѣ не-реальнымъ построеніемъ; такъ, напримѣръ, всѣ эти персонажи пасторальныхъ идиллій, всѣ эти пейзане сентиментализма не имѣютъ въ себѣ ни единаго зерна реальной дѣйствительности. «Здравствуй, любезный пастушокъ! Куда гонишь ты стадо свое? и здѣсь растетъ зеленая трава для овецъ твоихъ, и здѣсь алѣютъ цвѣты изъ которыхъ можно сплести вѣнокъ для шляпы твоей»... («Бѣдная Лиза», 1792 г.): таковъ, по мнѣнію Карамзина, языкъ, которымъ ведутъ разговоры другъ съ другомъ добродѣтельные россійскіе пейзане и пейзанки. Гдѣ же тутъ выставленіе впередъ «реальной личности?» Читатель самъ легко рѣшитъ такой вопросъ, если вспомнитъ значеніе этого условнаго термина: подъ реальной личностью мы понимаемъ отнюдь не реалистическій типъ, а индивидуальнаго человѣка,—человѣка, взятаго съ точки зрѣнія его личныхъ непосредственныхъ переживаній; въ сентиментализмѣ же именно эти *непосредственныя переживанія индивидуума ставятся на первое мѣсто*, въ чемъ и состоитъ «гуманическая» тенденція этого направленія. Какая-нибудь бѣдная Лиза, конечно, не реальный типъ, но она трогаетъ и интересуетъ Карамзина только какъ реальная личность: ея личныя радости и горести, ея непосредственныя чувства,—вотъ что берется авторомъ во главу угла. И вотъ здѣсь-то заключается главная разница между сентиментализмомъ Карамзина и общественностью интеллигенціи XVIII-го вѣка.

Центромъ вниманія Радищева или Новикова былъ абстрактный человѣкъ, человѣкъ, какъ отвлеченіе правовыхъ (но не этическихъ) нормъ; реальная личность стояла для нихъ гдѣ-то на второмъ планѣ, въ тѣни. Такимъ образомъ еще въ XVIII-мъ вѣкѣ совершилось полу-догматическое расчлененіе общества и личности въ міровоззрѣніи русской интеллигенціи;

сентиментализмъ въ этомъ отношенiи былъ реакцiей крайностямъ общественнаго теченiя, но самъ впалъ въ противоположную крайность, и, выставляя на первый планъ реальную личность, совершенно обходилъ общество

Было бы поспѣшнымъ заключать отсюда, что сентиментализмъ былъ теченiемъ реакцiоннымъ: какъ разъ наоборотъ, въ тяжелый перiодъ реакцiи 1790—1801 гг., совпавшей съ расцвѣтомъ сентиментализма, послѣднiй былъ въ литературѣ главной плотиной противъ реакцiоннаго потока; вокругъ Карамзина собрались всѣ лучшiя молодыя силы новыхъ круговъ интеллигенцiи; знаменитая «Ода къ Милости» Карамзина (1792 г.) была произведенiемъ смѣлымъ и рискованнымъ по тому времени. Положимъ, и время это было такое, что если бы Карамзинъ замолчалъ, то камни бы возопили. Во всякомъ случаѣ сентиментализмъ въ лучшую пору своей дѣятельности не былъ реакцiоннымъ; зато надо указать, что девизомъ его всегда было постепеновство и что мало-по-малу онъ переходилъ отъ него къ индифферентизму, квiетизму и теорiямъ самосовершенствованiя. Карамзинъ не отрицаетъ, какъ мы видѣли, что самъ по себѣ человѣкъ есть только фрагментъ, что полнаго развитiя онъ достигаетъ только въ обществѣ, но въ то же время онъ боязливо избѣгаетъ мысли о правахъ общества, о правахъ абстрактнаго человѣка. По его мнѣнiю, «всякое гражданское общество, вѣками утвержденное, есть святыня для добрыхъ гражданъ; и въ самомъ несовершеннѣйшемъ надобно удивляться чудесной гармонiи, благоустройству, порядку»... Типичный постепеновецъ, Карамзинъ любитъ часто противопоставлять бурямъ революцiи тихое «царство счастiя», достигаемое посредствомъ «медленныхъ, но вѣрныхъ, безопасныхъ успѣховъ разума, просвѣщенiя, воспитанiя, добрыхъ нравовъ»... Отъ

постеперовства онъ вполнѣ послѣдовательно переходитъ къ теоріямъ самосовершенствованія и утверждаетъ, что «когда люди увѣрятся, что для собственнаго ихъ щастія добродѣтель необходима, тогда настанетъ вѣкъ златой, и во всякомъ правленіи человѣкъ насладится мирнымъ благополучіемъ жизни»... («Письма русск. пут.», апрѣль 1790 г. и др.) Не то ли же самое говорила Екатерина II устами Патрикея Правдомыслова: «любезные сограждане! перестанемъ быти злыми» —и наступитъ вѣкъ златой?! Въ Карамзинѣ такое постепеновство несравненно законченнѣе и логичнѣе: бывшему масону, твердо впитавшему въ себя идею самосовершенствованія, вполнѣ естественно быть постепеновцемъ, тѣмъ болѣе, что постепеновство и самосовершенствованіе логически связаны между собой. *Проповѣдью самоусовершенствованія, какъ панацеи соціальныхъ золъ, Карамзинъ толкнулъ сентиментализмъ на путь этико-соціологическаго номинализма и крайняго индивидуализма*, ибо только крайнее презрѣніе къ общественности и своеобразное идолопоклонство передъ личностью могутъ привести къ мысли о возможности общественно-политической эволюціи путемъ усовершенствованія отдѣльныхъ индивидовъ. Но Карамзинъ пошелъ еще дальше этого: постепеновство и теорія самосовершенствованія привели его въ концѣ концовъ къ самому безнадежному квіетизму; онъ сталъ и въ прозѣ и въ стихахъ взывать къ добродѣтельнымъ читателямъ:

Не вымышляйте новыхъ бѣдъ:
Въ семъ мірѣ совершенства нѣтъ.

Это его двустишіе можетъ быть взято эпиграфомъ къ главному труду его жизни, къ «Исторіи Государства Россійскаго»; цѣлью исторіи Карамзинъ ставитъ то, чтобы изученіе ея мирило насъ «съ несовершенствомъ видимаго порядка вещей, какъ съ

обыкновеннымъ явленіемъ во всѣхъ вѣкахъ»... Останавливаться на этомъ намъ нѣтъ надобности: это уже вырожденіе сентиментализма; можно только вспомнить мимоходомъ великолѣпную отповѣдь Карамзину Н. Муравьева въ особой рукописной запискѣ (издана Погодинымъ), и ядовитое четверостишіе Пушкина на «Исторію Государства Россійскаго», которой «изящность» и «простота»

Доказываютъ намъ безъ всякаго пристрастья
Необходимость самовластья
И прелести кнута...

Здѣсь уже сентиментализмъ дѣлается и литературно и общественно реакціоннымъ теченіемъ и мало-помалу уступаетъ первое мѣсто болѣе жизненнымъ направленіямъ, съ которыми мы вскорѣ познакомимся. Но прежде чѣмъ перейти къ этимъ новымъ теченіямъ и прежде всего къ романтизму, мы остановимся еще на одной чрезвычайно важной сторонѣ сентиментализма—выяснимъ его отношеніе къ мѣщанству вообще и къ эпохѣ литературнаго мѣщанства въ частности.

III.

Сентиментализмъ впервые началъ сознательную борьбу съ литературнымъ мѣщанствомъ,—и въ этомъ еще одна его большая заслуга въ исторіи русской культуры. Ложноклассицизмъ былъ направленіемъ наиболѣе ненавистнымъ сентиментализму; они діаметрально противоположны по средствамъ, цѣлямъ, идеаламъ. Цѣль псевдо-классицизма—поразить, его средство—напыщенный драматизмъ, его идеалъ—героическій; цѣль сентиментализма—тронуть, его средство—простота чувства, его идеалъ—гуманическій. Неудивительно поэтому, что у Карамзина мы

встрѣчаемъ попытку низведенія псевдо-классической трагедіи съ ея пьедестала. «Я и теперь не перемѣнилъ мнѣнія своего о французской Мельпоменѣ,— пишетъ онъ изъ Парижа:—она благородна, величественна, прекрасна, но никогда не тронетъ, не потрясетъ сердца моего такъ, какъ муза Шекспирова»... Французскимъ трагедіямъ онъ удивляется «по большей части съ холоднымъ сердцемъ»... Соотечественники Вольтеровы не имѣютъ, быть можетъ, ни двухъ истинныхъ трагедій»—заявляетъ онъ, и тутъ же восхищается «Королемъ Лиромъ». Вообще по его мнѣнію французскія трагедіи, образцовыя по «искусству письма», должны по глубокому «чувству Натуры» уступить пальму первенства драмамъ Шекспира, трагедіямъ Лессинга и Шиллера и... «мѣщанскимъ драмамъ» «господина Коцебу, Ревельскаго жителя»... («Письм. русск. пут.», 29 апр. 1790 г.; 2 іюля 1789 г. и др.). Курьезное сопоставленіе именъ, но совершенно вѣрное противопоставленіе фактовъ: пользуемся случаемъ подчеркнуть глубочайшее анти-мѣщанское значеніе такъ называемой «мѣщанской драмы», сентиментализма въ драматической формѣ. Одновременно съ нарушеннымъ равновѣсіемъ сословныхъ слоевъ въ эпоху великой французской революціи, ложно-классическая трагедія была отодвинута на задній планъ «мѣщанской драмой», параллельно съ выступленіемъ буржуазіи, tiers-état, передъ высшимъ дворянствомъ, аристократіей. Поэтому несомнѣнно, что *«мѣщанская драма» была сословно-мѣщанской*, но настолько же несомнѣнно, что *въ то же время она была литературно анти-мѣщанской:* она была протестомъ противъ узкихъ, заледенѣлыхъ формъ псевдо-классицизма. Мѣщанская драма, вскорѣ выродившаяся въ сентиментальную мелодраму, была и на Западѣ и въ Россіи однимъ изъ проявленій сентиментализма, объявившаго войну шаблонному

литературному мѣщанству. Въ этой борьбѣ съ литературнымъ мѣщанствомъ сентиментализмъ былъ ярко-прогрессивнымъ направленіемъ; подъ знаменемъ «борьбы съ мѣшанствомъ» соединилось все молодое, свѣжее, живое. Результаты этой борьбы учитываетъ исторія литературы: какъ извѣстно, псевдо-классицизмъ былъ разбитъ наголову и сентиментализмъ побѣдителемъ сталъ на развалинахъ мертваго и сухого литературнаго мѣщанства.

Сентиментализмъ былъ однако не только литературно, но и этически анти-мѣщанскимъ направленіемъ: это вполнѣ послѣдовательно вытекало изъ его постоянной вражды къ регламентаціи, къ холодной напыщенности, къ размѣренности и шаблону. Характерный примѣръ: мы уже видѣли, какъ равнодушно проходитъ Карамзинъ мимо «холоднаго великолѣпія» версальскихъ садовъ и какъ онъ цѣнитъ «милый» садъ Тріанона за его близость къ жизненной правдѣ; вообще, по мнѣнію Карамзина, мѣщанскія, ложно-классическія, «французскія румяны человѣку съ естественнымъ вкусомъ не могутъ быть пріятны»... («Письма русск. пут.», отъ 2 іюля 1789 г.). Обобщая это и на нравственный міръ человѣка, мы должны будемъ признать, что и въ этой области сентиментализмъ явился въ высокой степени анти-мѣщанскимъ; для насъ особенно интересно то, что самъ Карамзинъ въ одномъ изъ своихъ небольшихъ очерковъ противопоставилъ сентиментализмъ мѣщанству (конечно, не пользуясь такой терминологіей).

Въ очеркѣ «Чувствительный и холодный» (1803 г.) мы имѣемъ передъ собой двухъ друзей: Эрастъ — представитель сентиментализма, съ нѣкоторой примѣсью зарождающагося романтизма; Леонидъ — яркій типъ мѣщанина, впервые появляющагося съ такой опредѣленностью въ русской литературѣ. У Эраста — «чувствительное сердце» и въ то же время «неболь-

шой примѣсъ безразсудности», а также и вѣчная неудовлетворенность; въ Леонидѣ мы находимъ всѣ главныя черты духовнаго мѣщанства, распустившіяся впослѣдствіи такимъ пышнымъ цвѣтомъ у вѣрныхъ сыновъ эпохи оффиціальнаго и эпохи общественнаго мѣщанства въ пятидесятыхъ и восьмидесятыхъ годахъ XIX-го вѣка. Основное свойство Леонида— «благоразуміе»; основное его желаніе—быть какъ всѣ; на его мнѣніяхъ должно лежать клеймо общественнаго одобренія; на его требованіяхъ къ жизни видна вся его духовная обыденность. Свои мысли Леонидъ выражаетъ чаще всего шаблонными афоризмами, представляющими изъ себя nec plus ultra мѣщанской истины. Напримѣръ: «служба есть у насъ вѣрнѣйшій путь къ уваженію, а чины—ходячая монета».. «Всего вѣрнѣе идти въ свѣтѣ большою дорогою и запасаться такими деньгами, которыя вездѣ принимаются»... «Не презирай нижнихъ ступеней лѣстницы: онѣ ведутъ къ верхней»... «Никакіе таланты не возвысятъ человѣка въ государствѣ безъ угожденія людямъ» и т. п.... И онъ всегда и во всемъ вѣренъ своей мѣщанской философіи: тянетъ чиновничью лямку, ибо знаетъ, что «благоразумному человѣку надобно въ жизни заниматься дѣломъ» (вѣдь «надо дѣло дѣлать»—излюбленный кличъ мѣщанства, начиная съ Леонида, проходя черезъ Штольца и Соломина, кончая профессоромъ изъ чеховскаго «Дяди Вани»). Какъ истый мѣщанинъ, Леонидъ «не ищетъ удовольствій, но избѣгаетъ огорченій; ему не-страданіе казалось наслажденіемъ, а равнодушіе талисманомъ мудрости». Какъ истинный мѣщанинъ, Леонидъ типичный и крайній эгоистъ (подъ эгоизмомъ мы понимаемъ ту этическую систему, девизомъ которой является признаніе человѣка средствомъ, а самого себя—цѣлью; нечего и доказывать, что такимъ образомъ *эгоизмъ есть*

полная противоположность этическому индивидуализму, принципомъ котораго является «человѣкъ-самоцѣль»). Леонидъ твердо увѣренъ, что «человѣкъ созданъ думать сперва о себѣ, а тамъ о другихъ; иначе нельзя стоять свѣту», что «все для человѣка, а человѣкъ только для самого себя»... Вся его жизнь—проведеніе въ дѣло всѣхъ этихъ мѣщанскихъ принциповъ, убѣжденій и истинъ; даже женится онъ для того, «чтобы избавить себя отъ хозяйственныхъ заботъ. Женщина нужна для порядка въ домѣ»...

Съ такой удивительной для своего времени полнотой обрисовываетъ Карамзинъ типичнаго мѣщанина, представителя духовнаго мѣщанства среди русской интеллигенціи. Въ чью сторону склонялись симпатіи родоначальника русскаго сентиментализма, въ сторону «чувствительнаго» сентименталиста или «холоднаго» мѣщанина— это ясно безъ словъ; интересна та язвительность, съ которой Карамзинъ отнесся къ Леониду подъ видомъ самаго почтительнаго къ нему отношенія; только въ трехъ-четырехъ строкахъ отъ лица автора вскрывается его отрицательное отношеніе къ благоразумному мѣщанину: «равнодушные люди—говоритъ Карамзинъ—бываютъ во всемъ благоразумнѣе, живутъ смирнѣе въ свѣтѣ, менѣе дѣлаютъ бѣдъ и рѣже разстраиваютъ гармонію общества, но одни чувствительные приносятъ великія жертвы добродѣтели, удивляютъ свѣтъ великими дѣлами» [1]).

Итакъ, этическое мѣщанство настолько же отталкивало Карамзина, насколько притягивалъ его этическій индивидуализмъ; въ борьбѣ съ первымъ и въ приближеніи ко второму онъ сдѣлалъ только первые шаги, но и эти робкіе первые шаги были для того

---

[1]) Интересно отмѣтить, что фраза эта является почти дословнымъ переводомъ одного мѣста изъ «Антропологіи» Канта.

времени громаднымъ шагомъ впередъ. Индивидуализмъ проявился у него въ формѣ гуманизма, мѣщанство было имъ осуждено за свое размѣренное, холодное благоразуміе. Чувствовалъ ли Карамзинъ всю гнетущую тягость *обыденности* мѣщанства, что впослѣдствіи такъ сильно сказалось въ западноевропейскомъ романтизмѣ? Едва ли. Правда, вліяніе «господина Жанъ-Жака Руссо», разбавленнаго Стерномъ и Ричардсономъ, отразилось на отрицательномъ отношеніи сентиментализма къ цивилизаціи, къ культурѣ въ ея современныхъ формахъ; но это отрицательное отношеніе было чисто-платоническимъ. «Я съ радостію отказался бы отъ многихъ удобностей жизни (которыми обязаны мы просвѣщенію дней нашихъ), чтобы возвратиться въ первобытное состояніе человѣка... Теперь жилище и одежда наша покойнѣе: но покойнѣе ли сердца? Ахъ, нѣтъ!..» Такъ восклицаетъ Карамзинъ и повидимому искренне. Однако стоитъ только вмѣсто златого вѣка, «когда всѣ люди были пастухами и братьями» (интересно, что къ этой фразѣ самъ Карамзинъ дѣлаетъ скептическое примѣчаніе: «когда же?»), стоитъ только, говоримъ мы, поставить передъ нашимъ сентименталистомъ нѣчто болѣе реальное, чтобы заставить его немедленно ухватиться за всѣ блага современной культуры и открещиваться отъ прелестей первобытнаго состоянія. «Мы не таковы, какъ брадатые предки наши,—заявляетъ съ полной искренностью Карамзинъ:—тѣмъ лучше! Грубость наружная и внутренняя, невѣжество, праздность, скука были ихъ долею въ самомъ высшемъ состояніи»... («Письм. русск пут.», авг.—сент. 1789 г., май 1790 г.). Сентиментализмъ платонически вздыхалъ о златомъ вѣкѣ, но легко мирился со всѣми недостатками мѣщанскихъ формъ современной культуры; *обыденность* мѣщанства не тяготила его. Онъ

боролся съ мѣщанствомъ только какъ съ узкими литературными формами, только какъ съ сухимъ благоразуміемъ жизни; онъ боролся за индивидуализмъ только какъ за гуманизмъ, его всегда интересовало «человѣческое, слишкомъ человѣческое», ибо, по словамъ Карамзина, «что человѣку занимательнѣе самого себя?» (Ibid., сент. 1790 г.). Дальше этого сентиментализмъ не пошелъ, но и этихъ заслугъ его достаточно, чтобы признать его значеніе громаднымъ не только въ исторіи русской литературы, но и въ исторіи русской культуры, въ исторіи эволюціи русской интеллигенціи.

Дальнѣйшее развитіе сентиментализма является уже его разложеніемъ. Слабыя стороны сентиментализма, отмѣченныя нами еще у Карамзина, достигаютъ уродливыхъ размѣровъ у эпигоновъ сентиментализма и являются главнымъ содержаніемъ ихъ произведеній. Слезоточивая чувствительность разныхъ Шаликовыхъ, которые только и заняты тѣмъ, что безпричинно льютъ сладчайшія слезы, «съ тихой меланхоліей пьютъ въ вечернемъ воздухѣ спасительныя струи Леты» и говорятъ «прости» миловидному солнцу» — заполняетъ собою всю русскую литературу перваго десятилѣтія XIX-го вѣка (Шаликовъ, «Путешествіе въ Малороссію», 1803 г.); вырождающійся сентиментализмъ вырабатываетъ себѣ трафаретныя формы и становится шаблоннымъ по содержанію. Такимъ образомъ *выродившійся сентиментализмъ обратился въ литературно-этическое мѣщанство.* Въ эту эпоху зарождается въ русской литературѣ непосредственный преемникъ сентиментализма въ борьбѣ за индивидуализмъ и противъ мѣщанства; мы говоримъ про то направленіе, которое обыкновенно носитъ названіе романтизма. Съ этимъ русскимъ романтизмомъ намъ теперь и предстоитъ познакомиться.

IV.

«Всѣ имѣютъ у насъ самое темное понятіе о романтизмѣ»—писалъ Пушкинъ еще въ 1825 г.; съ тѣхъ поръ много говорили, писали, спорили о романтизмѣ, да только возъ и нынѣ тамъ. Правда, установилось общепринятое, шаблонное мнѣніе о сущности романтизма, какъ о реакціи псевдо-классическому направленію, отрицаніи всякихъ формальныхъ эстетическихъ теорій, стремленіи къ среднимъ вѣкамъ. Съ такимъ примитивнымъ пониманіемъ романтизма боролся еще Бѣлинскій, и Бѣлинскій же впервые въ русской литературѣ далъ глубокое опредѣленіе этого понятія, указавъ, что сущность романтизма заключается не въ особенностяхъ его формы, а въ его идеѣ, что источникъ романтизма не въ поэзіи, а въ жизни. «Жизнь тамъ, гдѣ человѣкъ, а гдѣ человѣкъ, тамъ и романтизмъ. Въ теснѣйшемъ и существеннѣйшемъ своемъ значеніи романтизмъ есть не что иное, какъ внутренній міръ души человѣка, сокровенная жизнь его сердца... Преобладающій элементъ романтизма есть вѣчное и неопредѣленное стремленіе, неуничтожаемое никакимъ удовлетвореніемъ. Источникъ романтизма... есть таинственная внутренность груди, мистическая сущность бьющагося кровью сердца»... Съ этой точки зрѣнія романтическое теченіе конца XVIII го и начала XIX-го вѣка есть лишь только частный случай романтизма, который является вѣчнымъ свойствомъ человѣческаго духа и проявителями котораго были, по вѣрному замѣчанію Бѣлинскаго, и средніе вѣка, и Платонъ, и и таинства Элевзиса.

Мнѣніе Бѣлинскаго осталось одинокимъ въ нашей литературѣ, но тѣмъ не менѣе мы имѣемъ смѣлость къ нему вернуться. Скажемъ объ этомъ нѣсколько

словъ, такъ какъ намъ необходимо выяснить наше пониманіе романтизма, поскольку это имѣетъ отношеніе къ нашей главной темѣ.

Подъ романтизмомъ мы понимаемъ общее и вѣчное свойство человѣческаго духа, стремленіе нарушить тѣ границы, которыми сдавливаютъ его реальный міръ, непосредственное воспріятіе, формы сознанія, раціонализмъ мысли, воли и чувства. Подъ романтизмомъ мы понимаемъ постоянное стремленіе проникнуть въ новый, невѣдомый міръ, отбросить все «человѣческое слишкомъ человѣческое», изъ міра, третьяго измѣренія перейти въ міръ измѣренія четвертаго, отъ понятности перейти къ таинственности, отъ закономѣрности къ чуду. И такое стремленіе, какъ это чутко отмѣтилъ Бѣлинскій, неуничтожимо никакимъ удовлетвореніемъ, ибо нѣтъ тѣхъ предѣловъ, которые романтизмъ согласился бы признать непереступаемыми. Выражаясь словами современнаго поэта, мы скажемъ, что романтизмъ—вѣчное стремленіе и проникновеніе

За предѣлы предѣльнаго,
Къ безднамъ свѣтлой безбрежности...

Стремленіе и проникновеніе: одно стремленіе «за предѣлы предѣльнаго» не характеризуетъ еще собою романтизма, ибо безсильное стремленіе часто обращалось въ слезливо-сентиментальную ламентацію о невозможности достиженія «свѣтлой безбрежности», въ чемъ отнюдь не было сути романтизма.

Стремленіе и проникновеніе за предѣлы предѣльнаго —вотъ романтизмъ. Стремленіе это въ области мысли, воли и чувства позволяетъ намъ говорить о романтизмѣ логическомъ, романтизмѣ этическомъ, романтизмѣ эстетическомъ (въ узкомъ смыслѣ), какъ о главныхъ возможныхъ романтическихъ воззрѣніяхъ; въ области религіозныхъ переживаній

мы можемъ говорить о религіозномъ романтизмѣ, которымъ очевидно является мистицизмъ. *Мистицизмъ есть религіозный романтизмъ*, романтизмъ въ области религіи; Бѣлинскій въ свое время чутко замѣтилъ и эту связь; «въ основѣ всякаго романтизма непременно лежитъ *мистицизмъ*», подчеркиваетъ онъ. Характеризуя связь между романтизмомъ и мистицизмомъ, мы можемъ выставить общее положеніе: религіозное сознаніе романтика неизбѣжно должно быть мистичнымъ, и, mutatis mutandis, міроощущеніемъ мистика неизбѣжно долженъ быть «романтизмъ» Замѣтимъ и еще одно: если съ точки зрѣнія познаванія сущность романтизма всегда едина, то, какъ психологическая категорія онъ тѣсно связанъ съ «общественными типами» своего времени, своей эпохи. Романтизмъ начала и символизмъ конца XIX вѣка, по сущности тождественные, общественно-психологически совершенно отличны другъ отъ друга. Романтизмъ двадцатыхъ-тридцатыхъ годовъ—явленіе неповторяемое и глубоко связанное съ эпохой.

Возвратимся однако къ отмѣченнымъ выше тремъ главнымъ возможнымъ романтическимъ воззрѣніямъ. Романтизмъ мысли, романтизмъ логическій, въ своемъ стремленіи «за предѣлы предѣльнаго» несомнѣнно долженъ быть «ирраціональнымъ»; кромѣ того онъ будетъ пытаться прорвать заколдованный кругъ закономѣрной реальности проникновеніемъ въ ту область полу-мистической фантастики, гдѣ земная дѣйствительность растворится въ причудливыхъ образахъ и фантасмагорическихъ видѣніяхъ. Романтизмъ воли, романтизмъ этическій, въ своемъ стремленіи «за предѣлы предѣльнаго» устремится по ту сторону добра и зла, или во всякомъ случаѣ дастъ намъ романтическіе облики людей «...великихъ силъ и мыслей, добру и злу незнающихъ границъ». Мощ-

ный титанизмъ—вотъ вѣчный спутникъ этическаго романтизма, его главное и неизбѣжное проявленіе; нечего и прибавлять, что и въ области этическаго романтизма царствуетъ «ирраціонализмъ», что раціонализмъ въ этикѣ есть contradictio in adiecto для романтика. Наконецъ, романтизмъ чувства, романтизмъ эстетическій (въ узкомъ значеніи этого слова) въ своемъ стремленіи «за предѣлами предѣльнаго» перейти всѣ границы человѣческаго чувства, дастъ невиданную по силѣ его изощренность (а можетъ быть и извращенность). «Любовь—по преимуществу романтическое чувство», совершенно вѣрно замѣчаетъ Бѣлинскій; чаще всего именно это чувство, исключительность страсти, не подчиняющаяся никакимъ доводамъ разсудка, исключительность выраженія этой страсти и т. п. — служитъ главной темой эстетическаго романтизма.

Конечно, это только схема; въ реальной человѣческой личности всѣ разнообразнѣйшія черты эстетическаго, этическаго, логическаго романтизма могутъ быть соединены въ единое, неразрывное цѣлое, могутъ прихотливо переплетаться, сочетаться такъ или иначе. Однако наше раздѣленіе, какъ схема, имѣетъ несомнѣнно и реальное значеніе, ибо не трудно доказать, что могутъ быть, и дѣйствительно были, и отдѣльныя лица, и цѣлыя литературныя эпохи и направленія, романтизмъ которыхъ по своимъ главнымъ характернымъ признакамъ подходилъ именно подъ одинъ изъ трехъ указанныхъ нами выше. Для доказательства не будемъ обращаться къ сѣдой древности, хотя и тамъ мы могли бы, слѣдуя примѣру Бѣлинскаго, отыскать всѣ три рода романтизма; обратимся лучше къ романтическому теченію конца XVIII-го и начала XIX-го вѣка, тѣмъ болѣе, что это приведетъ насъ къ главной цѣли—

къ русскому романтизму двадцатыхъ-тридцатыхъ годовъ.

Общеизвѣстно и общепризнано подраздѣленіе европейскаго романтизма XIX-го столѣтія на нѣмецкій, англійскій и французскій. Конечно, и такое подраздѣленіе также условно и схематично, но въ то же самое время слишкомъ очевидна его реальная подоплека; очевидно, что дѣленіе это произведено не на основаніи однихъ географическихъ и этнографическихъ различій, а по причинѣ нѣкотораго глубокаго отличія по существу романтизма нѣмецкаго отъ англійскаго и французскаго. Различіе это, по нашему мнѣнію, и заключается именно въ томъ, что нѣмецкій романтизмъ есть романтизмъ по преимуществу логическій, англійскій романтизмъ—главнымъ образомъ этическій, и романтизмъ французскій—прежде всего эстетическій романтизмъ; иначе говоря, главнымъ свойствомъ нѣмецкаго романтизма мы считаемъ фантастику, англійскаго—титанизмъ, французскаго—исключительность страстей.

Фантастика балладъ—характерная черта именно нѣмецкаго романтизма; величайшимъ нѣмецкимъ романтикомъ былъ, конечно, Гофманъ, фантастика котораго растворяетъ дѣйствительность въ причудливомъ кружевѣ образовъ, картинъ, поступковъ, лицъ четвертаго измѣренія, появившихся изъ-за «предѣловъ предѣльнаго». Въ такой же точно степени титанизмъ—характерная черта романтизма англійскаго, сказавшаяся въ величайшемъ англійскомъ романтикѣ—Байронѣ, а исключительность страстей и носителей ихъ—основная черта французскаго романтизма, въ лицѣ его главнаго представителя—Гюго. Изъ всего этого, конечно, вовсе не слѣдуетъ, чтобы каждый нѣмецкій романтикъ принадлежалъ непремѣнно къ нѣмецкому романтизму, а англичанинъ и французъ—къ романтизму англійскому и француз-

скому: нѣмецкій полу-романтикъ Гете могъ проговориться своимъ титаническимъ Прометеемъ, а англосаксъ Эдгаръ По во многихъ своихъ разсказахъ по силѣ фантастики приближается къ Гофману, но это нисколько не опровергаетъ общаго характера англійскаго и нѣмецкаго романтизма. Направленія опредѣляются прежде всего крупными именами и постоянствомъ стремленія къ цѣли: англійскій романтизмъ всегда будетъ тѣсно связанъ съ именемъ Байрона и съ его вѣчнымъ стремленіемъ къ силѣ; на этомъ основаніи мы и называемъ титанизмъ основной чертой англійскаго романтизма.

Еще нѣсколько словъ о романтизмѣ—и мы перейдемъ отъ отвлеченныхъ разсужденій къ нашей россійской дѣйствительности начала XIX-го вѣка. Намъ осталось сказать объ одномъ слѣдствіи, вытекающемъ изъ основного стремленія романтизма «за предѣлы предѣльнаго»; это слѣдствіе — *разрывъ съ обыденностью*, и притомъ разрывъ съ обыденностью въ двоякомъ смыслѣ. Прежде всего стремленіе «за предѣлы предѣльнаго» есть само по себѣ удаленіе отъ всего обыденнаго въ смыслѣ окружающаго насъ эмпирически-реальнаго міра; въ этомъ смыслѣ романтизмъ по справедливости можетъ быть противопоставленъ реализму (мы говоримъ въ данномъ случаѣ о романтизмѣ и реализмѣ, какъ о системахъ міровоззрѣній, а не только какъ о литературныхъ направленіяхъ). Но кромѣ того романтизмъ порываетъ и съ той житейской обыденностью, въ которой заключается знакомое намъ духовное мѣщанство; стоитъ вспомнить отношеніе Гофмана къ филистерству, чтобы убѣдиться, какъ далеко зашелъ въ своей ненависти по этому направленію романтизмъ. Разрывая съ обыденностью, романтизмъ не уставалъ высказывать свое презрѣніе къ мѣщанскому укладу современной культуры—и, быть можетъ, въ этомъ

одна изъ причинъ тяготѣнія романтизма къ среднимъ вѣкамъ; разрывая съ обыденностью, романтизмъ, конечно, прежде всего порвалъ съ обыденностью литературной, проповѣдовалъ свободу формы и объявлялъ войну всякимъ теоріямъ. Какъ видимъ отсюда, борьба романтизма съ псевдо-классицизмомъ есть только второстепенный результатъ, а никакъ не самая «суть» романтизма. Наконецъ, разрывая съ обыденностью, романтизмъ неизбѣжно долженъ былъ порвать съ обыденностью общественно-политической, а потому *въ конечномъ счетѣ* романтизмъ неизбѣжно долженъ былъ сдѣлаться революціоннымъ. Принято обычно считать (ссылаясь на имена Шатобріана, Новалиса и др.), что романтизмъ былъ политически реакціоннымъ теченіемъ; если въ этомъ и есть доля правды по отношенію къ отдѣльнымъ именамъ, то это совершенно невѣрно по отношенію къ романтизму какъ направленію, къ тому романтизму, о которомъ у насъ все время шла рѣчь выше. Романтизмъ—революціонное теченіе не только въ литературѣ, но и въ общественной жизни; если при своемъ возникновеніи въ XIX вѣкѣ онъ и былъ реакціоннымъ вслѣдствіе случайныхъ общественно-политическихъ комбинацій, то реакціонность эта, пройдя черезъ фазу политическаго индифферентизма, вскорѣ обратилась въ либерализмъ и въ крайне революціонное теченіе. Отъ Гофмана черезъ Байрона къ Гюго мы имѣемъ въ этомъ случаѣ характерную и въ высокой степени знаменательную эволюцію.

V.

Говорить о русскомъ романтизмѣ, не выяснивъ своего отношенія къ романтизму вообще, было невозможно; теперь, послѣ этого небольшого отступле-

нія, мы снова возвращаемся къ россійской дѣйствительности начала XIX-го вѣка. Мы остановились на разложеніи сентиментализма, на его превращеніи въ ультра-сентиментализмъ и литературно-этическое мѣщанство; посмотримъ, что принесъ съ собою пришедшій ему на смѣну русскій романтизмъ въ лицѣ Жуковскаго, затѣмъ Пушкина, позднѣе Лермонтова, а также романтиковъ въ родѣ Бестужева-Марлинскаго.

Русскій романтизмъ былъ псевдо-романтизмъ или, иными словами—въ Россіи не было романтизма, того романтизма, о которомъ у насъ все время шла рѣчь выше. Мы въ этомъ скоро убѣдимся. Мы увидимъ, что въ Россіи былъ нѣмецкій псевдо-романтизмъ (Жуковскій), былъ псевдо-романтизмъ англійскій (Пушкинъ), французскій (Бестужевъ-Марлинскій), но что все это было только мало-удачнымъ подражаніемъ; мы увидимъ, что въ Россіи не было романтизма, потому что не было проникновенія «за предѣлы предѣльнаго»...

Жуковскій былъ главнымъ представителемъ нѣмецкаго романтизма на русской почвѣ и непосредственнымъ наслѣдникомъ сентиментализма Карамзина. Связь между Карамзинымъ и Жуковскимъ была отмѣчена въ свое время еще Бѣлинскимъ, и теперь все болѣе и болѣе склоняются къ тому мнѣнію послѣдняго, которое выражено имъ въ слѣдующихъ словахъ: «Жуковскій ввелъ литературный мистицизмъ, который въ самомъ дѣлѣ былъ не что иное, какъ нѣсколько возвышенный, улучшенный и подновленный сентиментализмъ»... Мы вполнѣ выяснимъ наше отношеніе къ поэзіи Жуковскаго, если назовемъ ее *сентиментальнымъ псевдо-романтизмомъ*.

Жуковскій вступилъ въ литературу въ разгаръ славы Карамзина и въ разгаръ расцвѣта сентиментализма. Неудивительно поэтому, что въ 1803 г.

онъ еще былъ въ восторгѣ отъ Шаликова, а въ 1809 г. написалъ слабое подражаніе «Бѣдной Лизѣ»; гораздо удивительнѣе то, что уже въ то время, когда русская литература имѣла элегіи и стансы Пушкина, имѣла такія вещи, какъ «Борисъ Годуновъ» и «Евгеній Онѣгинъ»—Жуковскій все еще продолжалъ сентиментальничать на мотивъ «стонетъ сизый голубочекъ», воспѣвая, какъ умирающій лебедь

> Тихо съ жизнію прощался
> И при смерти сладко пѣлъ;
> И надъ нимъ сидѣлъ уныло
> Голубочикъ сизокрылой.

(«Умирающій лебедь», 1828 г.). Эта «меланхолія» Жуковскаго вся вышла изъ нѣдръ сентиментализма, и только по какому-то странному недоразумѣнію считаютъ ее однимъ изъ свойствъ романтизма. Элегизмъ по самому своему существу связанъ съ сентиментализмомъ, а къ романтизму можетъ быть пришитъ только бѣлыми нитками. Правда, романтизмъ есть никогда неудовлетворяемое стремленіе и проникновеніе за «предѣлы предѣльнаго», но мы уже указывали, что безсильное стремленіе, обращающееся въ слезливую ламентацію, не есть романтизмъ. Стремленіе это было у Жуковскаго:

> Сердце мукой безымянной
> Все проникнуто насквозь.
> И меня отсель куда-то
> Все зоветъ какой-то гласъ...

(«Тоска», 1828 г.). Но для романтизма одного стремленія мало; должно быть и проникновеніе. Было ли оно у Жуковскаго?

Проникнуть за «предѣлы предѣльнаго» онъ пытался прежде всего въ логическомъ романтизмѣ, а затѣмъ и въ области религіи, но и тутъ и тамъ одинаково безуспѣшно. Онъ добросовѣстно подражалъ всей той фантастикѣ, которую находилъ у различ-

ныхъ представителей нѣмецкаго романтизма, но фантастика эта оказывалась у Жуковскаго до смѣшного не фантастичной; проникнуть «за предѣлы предѣльнаго» онъ оказался вполнѣ безсильнымъ. Онъ тщательно пытается быть таинственнымъ, и чувствуя свое безсиліе въ этомъ, нагромождаетъ въ своихъ балладахъ всякіе чудеса и ужасы одни на другіе. Еще въ первой своей балладѣ «Людмила» (1808 г.), переведенной изъ Бюргера, онъ уже пытается пустить свой романтизмъ что называется «во-всю», а потому въ то время какъ у Бюргера надъ мертвой Ленарой только рѣетъ толпа воздушныхъ тѣней, у Жуковскаго—нагроможденіе всяческихъ ужасовъ:

Стонъ и вопли въ облакахъ,
Визгъ и скрежетъ подъ землею...
Вдругъ усопшіе толпою
Потянулись изъ могилъ;
Тихій страшный хоръ завылъ...

И въ каждой балладѣ Жуковскаго мы встрѣтимся со всѣми этими принадлежностями чертовщины: тутъ и «дикій вой совы», и завыванія колокола; тутъ фигурируетъ и «черный вранъ» («вранъ—это болѣе ужасно, чѣмъ «воронъ»), тутъ и гробница, и трупъ, и самъ дьяволъ собственной персоной; то у него «трупъ завылъ», то «мрачный бѣсъ ужасно взвылъ и улетѣлъ», то «въ полночь къ могилѣ ужасный ѣздокъ прискакалъ» (и это даже въ балладахъ 1831—2 гг.!). Конечно, въ высокой степени наивно критиковать всѣ такія мѣста съ раціоналистической точки зрѣнія, какъ это сдѣлалъ Бѣлинскій, безсознательно вскрывающій, впрочемъ, всю неубѣдительность и прозаичность реалистической фантастики нашего сентиментальнаго романтика; для насъ эти мѣста являются глубоко интересными, воочію убѣждая читателей въ полномъ безсиліи фантастики Жуковскаго. Всѣ эти воющіе трупы и

бѣсы облечены въ плоть и кости; вмѣсто таинственной, полумистической фантастики, передъ нами все земное, подчиняющееся законамъ тяготѣнія и не выступающее за предѣлы третьяго измѣренія. Вмѣсто таинственной фантастики Жуковскій усердно уснащаетъ свои произведенія всѣми ужасами, страшными для маленькихъ дѣтей; отсюда до романтизма какъ до звѣзды небесной далеко.

Религіозный романтизмъ Жуковскаго въ такой же степени является псевдо-романтизмомъ. Религіозный романтизмъ есть мистицизмъ, Жуковскій же никогда не былъ мистикомъ; только при поверхностномъ знакомствѣ съ Жуковскимъ можетъ показаться, что онъ стремился и проникалъ «за предѣлы предѣльнаго» въ области религіи; не надо забывать, что не всякая религіозность, а только мистическая является романтизмомъ. Конечно, религіозность Жуковскаго не подлежитъ сомнѣнію; съ перваго произведенія Жуковскаго («Мысли при гробницѣ». 1797 г.) и до самаго послѣдняго («Розы», 1852 г.) всюду мы находимъ религіозность, тѣсно связанную съ элегизмомъ, съ «меланхоліей», ибо

> ... скорбь о погибшемъ не есть ли, Эсхинъ,
> Обѣтъ неизмѣнной надежды,
> Что *гдѣ-то въ знакомой, но тайной* странѣ
> Погибшее намъ возвратится?..

Религіозное созерцаніе поэта направлено не «за предѣлы предѣльнаго, но, наоборотъ, оно переноситъ за эти предѣлы нашу земную, предѣльную точку зрѣнія, философію третьяго измѣренія: «за предѣлами предѣльнаго» Жуковскій ожидаетъ найти *знакомую* страну, хотя и «тайную» прибавляетъ онъ. Но мы теперь уже знакомы съ «таинственностью» въ пониманіи Жуковскаго и знаемъ, что онъ эту «тайную» страну вполнѣ отчетливо рисовалъ себѣ въ земныхъ «предѣльныхъ» образахъ и краскахъ. Жуковскій

былъ религіозенъ, но эта его религіозность не мистицизмъ, а піетизмъ, и притомъ піетизмъ рѣзко раціоналистическаго характера. Ясно и просто смотритъ нашъ сентиментальный псевдо-романтикъ на міръ, на человѣка; ни въ смерти, ни въ жизни не видитъ онъ той тайны, которую чувствуетъ за ними мистицизмъ. Жизнь—это просто «странствіе по свѣту, ...во исполненье верховной воли высшаго царя»; смерть—еще проще и понятнѣе, это новая жизнь «гдѣ-то въ знакомой, но тайной странѣ», гдѣ вернется къ поэту погибшее любимое существо. Мистическая тайна не нужна и даже вредна:

> ... съ упованьемъ,
> Смертный, жди—не испытуй!

(«Мечта», 1831 г.); но зато не мѣшаетъ и даже полезно предаваться лирическимъ ламентаціямъ о тщетѣ всего земного; это возвышаетъ душу къ небесному... Вообще въ своемъ примитивномъ христіанствѣ Жуковскій былъ типичнымъ представителемъ протестантизма, съ его подмѣной мистицизма раціоналистическимъ піетизмомъ; для характеристики этого піетизма Жуковскаго достаточно познакомиться съ его «Христіанской философіей» (1850 г.). Еще ярче въ этомъ отношеніи его омерзительно-филистерскій проектъ «О смертной казни» (1850 г), который мы и напомнимъ читателю для характеристики піетизма вообще.

У Достоевскаго въ «Братьяхъ Карамазовыхъ» есть одно интересное мѣсто о казни раскаявшагося убійцы Ришара. Ришаръ раскаялся, увѣровалъ, на него снизошла благодать; пасторы, судьи и благотворительныя дамы въ восторгѣ цѣлуютъ его, кормятъ конфектами и дарятъ цвѣтами—но по божеской и человѣческой справедливости все-таки нужно казнить убійцу... «Вотъ достигли эшафота:

«умри, братъ нашъ,—кричатъ Ришару,—умри во Господѣ, ибо и на тебя сошла благодать!» И вотъ, покрытаго поцѣлуями братьевъ, брата Ришара втащили на эшафотъ, положили на гильотину и оттяпали-таки ему, по-братски, голову за то, что и на него сошла благодать»... Достоевскій совершенно вѣрно замѣчаетъ, что поступокъ подобнаго рода свойственъ исключительно протестантизму. Весь этотъ эпизодъ съ «братомъ Ришаромъ» невольно вспоминается при знакомствѣ съ ханжески-піетическимъ проектомъ Жуковскаго. Онъ желаетъ, чтобы смертная казнь «была не однимъ актомъ правосудія гражданскаго, но и актомъ любви христіанской (!)», чтобы она имѣла «образъ величественный, глубоко трогающій и ужасающій душу»; чтобы при совершеніи казни «всякій глубоко понималъ, что здѣсь происходитъ нѣчто принадлежащее къ высшему разряду, а не варварскій убой человѣка», чтобы казнь, «уничтожая преступника, врага гражданъ, возбуждала состраданіе къ судьбѣ его въ сердцахъ его братьевъ, чтобы его земная погибель была общимъ горемъ»... Однимъ словомъ—«умри во Господѣ братъ нашъ Ришаръ»... Но это еще не все. Послѣдніе дни преступника должны быть освящены религіей; «на пути отъ церкви къ мѣсту казни онъ будетъ провожаемъ пѣніемъ, выражающимъ молитву о душѣ его»... При соблюденіи всего этого церемоніала смертная казнь будетъ возбуждать «всѣ высокія чувства души человѣческой: вѣру, благоговѣніе передъ правдой, состраданіе, любовъ христіанскую (!)», а преступнику въ то же самое время оттяпаютъ таки по-братски голову...

Намъ кажется, что этимъ исчерпанъ вопросъ о романтизмѣ Жуковскаго. Романтизмъ въ религіи—мистиченъ, псевдо-романтизмъ Жуковскаго—піетиченъ, а ирраціоналистическій мистицизмъ и раціонали-

стическій піетизмъ во всемъ вполнѣ противоположны другъ другу; далѣе, романтика мысли характеризуется фантастичностью таинственнаго оттѣнка, фантастика же «поэтическаго дядьки чертей и вѣдьмъ въ нашей литературѣ» была постоянно въ высшей степени прозаической и реальной, стремящейся только подавить читателя нагроможденіемъ всяческихъ quasi-ужасовъ. Жуковскій былъ такимъ образомъ типичнымъ представителемъ того псевдо-романтизма, который на долгое время заполонилъ собой русскую литературу.

Конечно, несмотря на все это, легкомысленное отношеніе къ поэзіи Жуковскаго было бы неизвинительнымъ; значеніе его для исторіи русской литературы и для исторіи эволюціи индивидуализма въ литературѣ слишкомъ велико, хотя характеристика этого значенія и не входитъ въ нашу задачу. Скажемъ только одно, что «поэтъ субъективнаго чувства», какъ обыкновенно называютъ Жуковскаго, въ области индивидуализма сдѣлалъ дальнѣйшій шагъ впередъ по сравненію съ сентиментализмомъ Карамзина. *Сентиментальный псевдоромантизмъ Жуковскаго былъ первой ступенью къ эстетическому индивидуализму*, подобно тому какъ сентиментализмъ Карамзина былъ первой ступенью къ индивидуализму этическому. Жуковскій—первый чистый лирикъ въ русской поэзіи; отбросивъ все внѣшнее и наружное сентиментализма, онъ углубился въ свою душу, и міръ его поэзіи есть міръ его души. Правда, онъ всегда старался, какъ мы это увидимъ ниже, служить своей поэзіей какой-то высокой и великой цѣли; но это была теорія, не сходившаяся съ практикой его поэзіи. Лирика Жуковскаго и его элегизмъ были первыми безсознательными шагами на пути къ эстетическому индивидуализму. Дорога же къ нему всегда ведетъ сначала

черезъ болото политическаго равнодушія; этотъ путь совершилъ и Жуковскій, перейдя впослѣдствіи отъ квіетизма Карамзина къ вполнѣ реакціонному отношенію ко всѣмъ лучшимъ росткамъ развивавшейся общественности того времени. Онъ стоитъ на стражѣ завѣтовъ старины, онъ охраняетъ «порядокъ» существующаго строя и догмы мѣщанской морали... «Я ненавижу все, что ты написалъ возмутительнаго для порядка и нравственности— пишетъ онъ Пушкину (12 апр. 1826 г.): - ты ужъ многимъ нанесъ вредъ неисцѣлимый»... Декабристы для него—«сволочь», «шайка разбойниковъ», «мелкая дрянь», «бандиты» (письмо къ А. И. Тургеневу, 16 дек. 1825 г.). Конечно, надо помнить, что position oblige: оффиціальное положеніе Жуковскаго въ семьѣ Николая I обязывало его къ опредѣленному политическому воззрѣнію; но Жуковскому не приходилось насиловать свою совѣсть, такъ какъ всѣ эти мнѣнія исходили изъ его сердца. Квіетистъ и индифферентистъ по природѣ, онъ не понималъ стремленія къ свободѣ внѣшней, а удовлетворялся самыми минимальными дозами внутренней свободы. «Что есть свобода?»—спросилъ онъ однажды самъ себя, и немедленно отвѣтилъ: «способность произносить слово *нѣтъ* мысленно (!) или вслухъ» («Отрывки», 1850 г.). Теорія, сводящаяся или къ показыванію комбинаціи изъ трехъ пальцевъ въ карманѣ, или къ прекраснодушію. Послѣднее и отразилось цѣликомъ въ меланхолической поэзіи Жуковскаго.

Необходимо замѣтить однако, что обскурантомъ, гасителемъ ни въ области мысли, ни въ вопросахъ политическихъ Жуковскій не былъ никогда. «Духа не угашайте»—было девизомъ Жуковскаго, какъ ни узко понималъ онъ границы, въ которыхъ разрѣшалось пламенѣть духу; сентиментальный псевдо-

романтикъ, онъ былъ гуманистомъ, и поэзія его была явленіемъ прогрессивнаго значенія, каковы бы ни были его политическіе взгляды. Прогрессивное значеніе ея намъ станетъ еще болѣе яснымъ, если мы отъ зачаточнаго эстетическаго индивидуализма Жуковскаго перейдемъ къ его достаточно рѣзко выраженному литературному анти-мѣщанству.

Русскій псевдо-романтизмъ продолжалъ начатую сентиментализмомъ борьбу съ литературнымъ мѣщанствомъ ложно-классицизма, а затѣмъ и съ мѣщанствомъ разложившагося ультра-сентиментализма. У Жуковскаго это не было разрывомъ съ обыденностью, а было просто борьбой съ узкими формами отмирающихъ литературныхъ теченій. Въ то время послѣднимъ оплотомъ ложно-классицизма и ультра-сентиментализма была мертворожденная «Бесѣда любителей россійской словесности» (1811—1817 гг.), въ борьбу съ которой вступилъ знаменитый въ исторіи русской литературы «Арзамасъ». Какъ извѣстно, въ Арзамасѣ вокругъ Жуковскаго группировалось все свѣжее, все живое и молодое того времени (1815—1818 гг.): Батюшковъ—Ахиллъ, Н. И. Тургеневъ—Варвикъ, кн. Вяземскій—Асмодей, Дашковъ—Чу! и молодой Пушкинъ—Сверчокъ (члены Арзамаса носили прозвища изъ балладъ Жуковскаго). Въ этомъ литературномъ кружкѣ борьба съ мѣщанствомъ ложно-классицизма и ультра-классицизма свелась на почву эпиграммы, пародіи, шутки; Жуковскій въ стихахъ высмѣивалъ «мериносовъ Бесѣды»:

Важенъ предъ стадомъ тащился старый баранъ, волокущій
Тяжкій курдюкъ на скрипящихъ колесахъ—Шишковъ сѣдорунный;
Рядомъ съ нимъ Шутовской, овца брюхатая, охалъ!
Важно везъ назади оселъ Голенищевъ-Кутузовъ
Тяжкій со причтами возъ; а на козлахъ мартышка
Въ фуркѣ, графъ Дмитрій Хвостовъ, тряслась; и, качаясь на дышлѣ,
Скромно висѣлъ въ чемоданѣ домашній тушканчикъ Вадыхаловъ...

(«Протоколъ 20 Арзамасскаго засѣданія», 1817 г.).

Здѣсь рядомъ съ ложно-классиками Шишковымъ и Хвостовымъ высмѣивается и ультра-сентименталистъ Вздыхаловъ (Станевичъ) и въ этой борьбѣ на два фронта сентиментальный псевдо-романтизмъ не могъ не остаться побѣдителемъ: слишкомъ осязательно чувствовалось въ поэзіи Жуковскаго вѣяніе новой жизни и за туманомъ новыхъ формъ вдали мерцало новое содержаніе. Литературное мѣщанство было наголову разбито поэзіей Жуковскаго; Пушкинъ довершилъ его пораженіе.

VI.

Переходя къ Пушкину, мы прежде чѣмъ касаться вопроса о его романтизмѣ, сперва прослѣдимъ конецъ борьбы съ литературнымъ мѣщанствомъ, иначе говоря, обратимся сперва къ первому періоду жизни Пушкина (1815 — 1820 гг.). Величайшій русскій поэтъ въ такъ называемомъ „лицейскомъ періодѣ“ своей литературной дѣятельности отдалъ дань литературному мѣщанству ложно-классицизма и ультрасентиментализма. Мертвая, заледенѣлая форма давитъ образы молодого поэта въ „Воспоминаніяхъ въ Царскомъ Селѣ“ (1815 г.); тутъ мы найдемъ всю бутафорію ложно-классицизма—всякіе „кольчуги и мечи“, риторическіе вопросы вродѣ „но что я зрю“ или „не се-ль Минервы росской храмъ?“ и т. п. Въ это время Пушкину было 15 лѣтъ; Державинъ и даже Петровъ были для него образцами (I. 55 [1]). Еще въ посланіи „Къ Жуковскому“ (1817 г.) мы можемъ найти у него отзвуки ложно-классицизма, послѣднія нотки котораго звучатъ даже въ одѣ его „Вольность“

---

[1]) Ссылки и цитаты по изданію Литературнаго Фонда 1887 г., съ дополненіями по изд. Брокгаузъ-Ефрона (1909 г.).

(1820 г.); но все-таки молодой поэтъ достаточно быстро сбрасываетъ съ себя узкое ярмо литературнаго мѣщанства. Уже въ 1824 году Пушкинъ нанесъ окончательный ударъ ложно-классицизму своей знаменитой одой графу Хвостову:

Султанъ ярится. Кровь Эллады
И рѣзво скачетъ, и кипитъ.
Открылись грекамъ древни клады,
Трепещетъ въ Стиксѣ лютый Питтъ.
И се—летитъ продерзко судно
И мещатъ громы обоюдно...

«Подражаніе г. Петрову, знаменитому нашему лирику» — иронизируетъ Пушкинъ по поводу первой фразы... Ода эта знаменуетъ эпоху: съ этой поры литературное мѣщанство ложно-классицизма навсегда сошло со сцены. И въ томъ же 1824 году Пушкинъ писалъ кн. Вяземскому: «старая классическая (поэзія), на которую ты нападаешь, полно, существуетъ ли у насъ?.. Гдѣ же враги романтической поэзіи? Гдѣ столбы классической?!» А четыре года спустя мѣщанство ложно классицизма было такимъ далекимъ преданіемъ, что Пушкинъ только съ легкой усмѣшкой вспоминаетъ о немъ въ послѣдней строфѣ VII ой главы «Евгенія Онѣгина». Буквально то же самое повторилось и съ ультра-сентиментализмомъ, которымъ Пушкинъ увлекался въ 1814 году (см., напр., нѣкоторыя мѣста изъ его «Городка»;) уже годъ спустя въ посланіи «Къ Дельвигу» Пушкинъ высмѣялъ всѣ эти воспѣванія рощицъ, ручейковъ, цвѣтиковъ и вѣтерочковъ... Впослѣдствіи онъ иронизируетъ надъ «сентиментальностью манерной» (II, 8), а въ 1824 г. непочтительно отзывается объ евангеліи сентиментализма — романахъ Ричардсона: «читаю Клариссу: мочи нѣтъ, какая скучная дура!» (VII, п. 79).

Покончивъ съ мѣщанствомъ ложна-классицизма

и ультра-сентиментализма, Пушкинъ также быстро перешагнулъ и черезъ сентиментальный псевдо-романтизмъ Жуковскаго. Нашъ знаменитый «балладникъ» и „поэтическій дядька чертей и вѣдьмъ", ведя ожесточенную борьбу съ литературнымъ мѣщанствомъ, совершенно не замѣтилъ, какъ самъ запутался въ сѣтяхъ сугубаго мѣщанства. Вслѣдъ за „Людмилой", написанной въ 1808 г., появилась и „Свѣтлана" (1812 г.), представляющая изъ себя „то же—иначе", а затѣмъ посыпался цѣлый дождь балладъ, псевдо-романтическихъ поэмъ, „Двѣнадцать спящихъ дѣвъ" („Громобой") и т. п.; все это опять-таки „то же—иначе", и въ концѣ концовъ быстро утратило значеніе новизны; появились сотни подражаній, передѣлокъ, сентиментальный псевдо-романтизмъ началъ мало-по-малу застывать въ условныхъ формахъ, обращаться въ литературное мѣщанство. Пушкинъ прошелъ черезъ стадію подражанія сентиментальному псевдо-романтизму (см., напр., стихотворенія „Кольна", „Эвлега", „Осгаръ", „Сраженный рыцарь", „Желаніе", „Осеннее утро", „Разлука", „Элегія", „Наслажденіе" и др., 1814—1816 г.), но быстро пошелъ впередъ, и уже три-четыре года спустя далъ рядъ классическихъ, изумительныхъ по силѣ и красотѣ произведеній (напр., „Рѣдѣетъ облаковъ летучая гряда", Нереида" и др.). Въ это же время (1820 г.) выходитъ въ свѣтъ его первая поэма, являющаяся рѣшительнымъ ударомъ по мѣщанству сентиментальнаго псевдо-романтизма. На это до сихъ поръ совершенно не обращали вниманія, но именно въ этомъ, быть можетъ, главное значеніе „Руслана и Людмилы". Послѣ появленія этой поэмы стали смѣшными и комичными всѣ эти, взятые на прокатъ изъ нѣмецкой литературы, воющіе трупы, мрачные колдуны и вѣдьмы, которые „вопятъ" предъ смертью разные ужасы; вообще стала излишней вся эта бу-

тафорія псевдо-романтизма, которой

> Поэтъ таинственныхъ видѣній,
> Любви, мечтаній и чертей

усердно угощалъ читателей и продолжалъ угощать ихъ даже въ 30-хъ годахъ, послѣ „Бориса Годунова“ и „Онѣгина“. Въ „Русланѣ и Людмилѣ“ вся эта бутафорія высмѣяна Пушкинымъ: тутъ передъ нами вмѣсто страшной колдуньи—безобидная старушонка „чуть-чуть живая, горбатая, совсѣмъ сѣдая“ комично объясняющаяся въ любви „сквозь кашель“; тутъ и „коварный, злобный Черноморъ“, до смерти перепугавшійся визга испуганной Людмилы... Все это было совершенно ново послѣ тягучихъ, скучныхъ ужасовъ Жуковскаго. Своей шутливой поэмой Пушкинъ нанесъ рѣшительный ударъ тоскливой и прозаичной фантастикѣ Жуковскаго; онъ сдѣлалъ это совершенно сознательно, и явно бросилъ перчатку сентиментальному псевдо-романтизму: въ IV й пѣснѣ „Руслана и Людмилы“ мы находимъ насмѣшливую пародію на „Двѣнадцать спящихъ дѣвъ“ Жуковскаго. Надо прибавить, что къ самому Жуковскому молодой поэтъ въ своей поэмѣ относился очень почтительно, именуя его „сѣвернымъ Орфеемъ“ и тому подобными лестными наименованіями, а впослѣдствіи даже сожалѣлъ, что „въ угожденіе черни“ напалъ въ первой своей поэмѣ на своего учителя, и заявлялъ: „зачѣмъ кусать намъ груди кормилицы нашей, потому что зубки прорѣзались?.. Жуковскій имѣлъ рѣшительное вліяніе на духъ нашей словесности“... (V,120 и VII, п. 94). Интересно, что самъ Жуковскій восторженно встрѣтилъ появленіе „Руслана и Людмилы“, не сознавая, что поэма эта—его смертный приговоръ; по прочтеніи ея онъ подарилъ Пушкину свой портретъ съ надписью: „ученику отъ побѣжденнаго учителя“, а еще черезъ два года вѣрно

предсказалъ Сверчку-Пушкину: „быть сверчку орломъ и долетѣть ему до солнца"! (письмо Жуковскаго къ Пушкину отъ 1-го іюня 1823 г.). Роль Жуковскаго въ исторіи русской литературы была въ это время закончена, „Русланъ и Людмила"—его надгробный памятникъ; и недаромъ Пушкинъ пророчески назвалъ Жуковскаго въ одномъ письмѣ 1820 года „въ Бозѣ почивающимъ", а нѣсколько позже (въ 1824 г.) писалъ: „Жуковскаго я получилъ. Славный былъ покойникъ, дай Богъ ему царство небесное!".

Итакъ, „Русланъ и Людмила"—это послѣдніе разсчеты Пушкина съ литературнымъ мѣщанствомъ сентиментальнаго псевдо-романтизма; но, съ другой стороны, мы видимъ въ этой поэмѣ ясно выраженный переходный моментъ русской литературы отъ „романтизма логическаго" къ „романтизму этическому". Выборъ сюжета сдѣланъ еще по рецепту романтической фантастики, но въ шутливомъ тонѣ его разработки лежитъ полное отрицаніе „романтики мысли"; въ поэмѣ Пушкина все время слышится смѣхъ автора надъ читателемъ, надъ собой, надъ героями, надъ фантастикой. (Вспомнимъ, какъ возмущало анонимнаго критика Пушкина, нѣкоего „Жителя Бутырской слободы", что голова великана чихаетъ, а Черноморъ грозитъ удавить своей бородой араповъ). Въ „Русланѣ и Людмилѣ" мы видимъ такимъ образомъ полное отрицаніе романтики мысли, логическаго романтизма; въ русскую литературу вмѣстѣ съ Пушкинымъ вступалъ романтизмъ воли, этическій романтизмъ; отъ подражанія нѣмецкому романтизму русская литература перешла къ подражанію романтизму англійскому, и мы сейчасъ увидимъ, что байронизмъ Пушкина былъ также псевдо-романтизмомъ.

Романтика воли у Байрона вылилась въ формы титанизма; Байронъ былъ и остался въ этой области

единственнымъ по силѣ представителемъ романтизма; мы указывали впрочемъ, что однажды и Гете обмолвился такой титанической вещью, какъ «Прометей", но ласточка одна не дѣлаетъ весны. Безпредѣльная сила, титаническое могущество человѣческаго духа— вотъ та область, въ которой Байронъ заглядываетъ „за предѣлы предѣльнаго"; каждый изъ героевъ Байрона, подобно Манфреду, „...человѣкъ великихъ силъ и мыслей, добру и злу незнающій границъ". Каждый изъ нихъ человѣкъ не только великихъ силъ, но и великихъ мыслей, незнающій границъ не только злу, но и добру. Титанизмъ есть противопоставленіе безмѣрныхъ, безграничныхъ стремленій и проникновеній личности—обыденности всего окружающаго; такимъ образомъ титанизмъ является настроеніемъ не только этическаго, но и религіознаго характера. „Титаническія силы имѣютъ въ себѣ что-то безмѣрное, тяжко-безконечное"—справедливо замѣчаетъ Бѣлинскій; въ этой ихъ безконечности и безмѣрности на почвѣ полу-сознанной мистической идеи—основа этическаго романтизма.

Мы видѣли, что „Русланъ и Людмила" былъ сведеніемъ послѣднихъ счетовъ Пушкина съ сентиментальнымъ псевдо-романтизмомъ; онъ немедленно совершилъ и дальнѣйшій шагъ отъ романтизма логическаго къ этическому: наступилъ періодъ пушкинскаго „байронизма". Одна за другой появляются поэмы „Кавказскій Плѣнникъ" (1821 г.), „Братья Разбойники" (1821 г.), „Бахчисарайскій фонтанъ" 1822 г.), „Цыганы" (1824 г.): всѣ онѣ „отзываются чтеніемъ Байрона, отъ котораго я тогда съ ума сходилъ", по позднѣйшему признанію самого Пушкина (V, 121). Но надо сразу сказать, что, сходя съ ума отъ Байрона, Пушкинъ совершенно не понималъ главнаго значенія его романтизма. На романтизмъ вообще Пушкинъ смотрѣлъ сравнительно вѣрно для

своего времени; онъ совершенно справедливо не считалъ возможнымъ признавать романтизмомъ только „унынiе“ и „мечтательность“ поэзiи Жуковскаго; онъ осуждалъ также и тѣхъ, которые „даже называютъ романтизмомъ неологизмъ и ошибки грамматическiя“, онъ называлъ жалкою ту литературу, въ которой мелочная критика разбираетъ не духъ произведенiя, а отдѣльныя слова и выраженiя (V, 32 и 60),—и въ этомъ случаѣ Пушкинъ смотрѣлъ гораздо глубже даже Бѣлинскаго, который, разбирая „Цыганъ“, видѣлъ ихъ „романтизмъ“ только въ двустишiи

...Медвѣдь, бѣглецъ родной берлоги,
Косматый гость его шатра,—

которое и критикуетъ подробно, называя его ультраромантическимъ! Пушкинъ же имѣлъ сравнительно вѣрные взгляды на тотъ унылый и мечтательный псевдо-романтизмъ, о которомъ онъ мѣтко замѣчаетъ, говоря про Ленскаго:

Такъ онъ писалъ *темно* и *вяло*,
Что романтизмомъ мы зовемъ,
Хоть романтизма тутъ нимало
Не вижу я...

Но, оцѣнивая совершенно точно значенiе сентиментальнаго псевдо-романтизма, Пушкинъ совершенно не понялъ романтизма Байрона, не понялъ значенiя титанизма въ поэзiи великаго англiйскаго романтика. Тѣ произведенiя Байрона, которыя особенно характерны для его романтизма, Пушкинъ не любилъ, и, наоборотъ, высоко цѣнилъ его менѣе характерныя вещи; онъ находилъ, что „генiй Байрона блѣднѣлъ съ его молодостiю“, и что Каинъ и Манфредъ ниже Гяура и Гарольда (VII, п. 67); по его мнѣнiю

Лордъ Байронъ прихотью удачной
Облекъ въ унылый романтизмъ
И безнадежный эгоизмъ

(„Евгеній Онѣгинъ“, гл. III, стр. XII). Конечно, трудно дать Байрону болѣе невѣрную характеристику... Отсюда ясно, чему могъ подражать Пушкинъ въ Байронѣ и насколько „романтизма“ могло оказаться въ такихъ подражаніяхъ.

Всѣ „байроническіе“ типы Пушкина облечены имъ въ „унылое разочарованіе“, чаще всего на почвѣ любви и пресыщенія благами міра; въ „безнадежномъ эгоизмѣ“ Пушкинъ и видитъ этическій романтизмъ. Конечно, было бы тщетной попыткой искать черты титанизма въ этихъ псевдо-романтическихъ герояхъ Пушкина; подобно тому какъ въ логическомъ псевдо-романтизмѣ Жуковскаго вмѣсто фантастической таинственности мы видѣли только тщетныя усилія быть страшнымъ, такъ и въ этическомъ псевдо-романтизмѣ Пушкина вмѣсто безпредѣльнаго титанизма мы найдемъ только напрасныя попытки быть сильнымъ. По этой причинѣ его Кавказскій Плѣнникъ.

> ...бури немощному вою
> Съ какой-то радостью внималъ,

въ глубокомъ молчаньи таилъ „движенія сердца своего“ —

> И на челѣ его высокомъ
> Не измѣнялось ничего...

По этой же причинѣ въ „Братьяхъ Разбойникахъ“ мы встрѣчаемся со „свирѣпыми ликами“, окаменѣлымъ жестокимъ духомъ и тому подобными аттрибутами „мрачной силы“ и quasi-титанизма. Въ „Бахчисарайскомъ Фонтанѣ“ Гирей

> ...часто въ сѣчахъ роковыхъ
> Подъемлетъ саблю, и съ размаха
> Недвижимъ остается вдругъ,
> Глядитъ съ безуміемъ вокругъ,
> Блѣднѣетъ, будто полный страха,
> И что-то шепчетъ...

Наконецъ въ „Цыганахъ“ Алеко также изображается „безнадежнымъ эгоистомъ“ съ титанической силой воли... И все напрасно: ни единаго атома титанизма нельзя найти во всѣхъ этихъ „москвичахъ въ Гарольдовомъ плащѣ“... Самъ Пушкинъ скоро это сознaлъ; по крайней мѣрѣ онъ добродушно подсмѣивается надъ своими псевдо-романтическими героями, лишь только пуститъ ихъ въ свѣтъ. „Кавказскій Плѣнникъ“—первый неудачный опытъ характера, по сознанію самого Пушкина: „мы вдоволь надъ нимъ посмѣялись“ (V, 121). „Характеръ Плѣнника неудаченъ,—пишетъ Пушкинъ въ томъ же году (1821 г.):—это доказываетъ что *я не гожусь въ герои романтическаго стихотворенія*“... (VII п 18; курсивъ нашъ). Цѣнное признаніе, которое можно принять съ тѣмъ дополненіемъ, что Пушкинъ не годится ни въ герои, ни въ авторы произведенія подлиннаго романтизма. Онъ постоянно стремился выйти „за предѣлы предѣльнаго“ въ области романтики воли, въ сферѣ титанизма, но стремленію этому никогда не суждено было осуществиться; вотъ почему Пушкинъ является такимъ же псевдо-романтикомъ въ своемъ подражаніи Байрону, какимъ былъ Жуковскій въ подражаніи нѣмецкому романтизму.

Однако псевдо-романтизмъ Пушкина имѣетъ въ исторіи развитія индивидуализма въ русской литературѣ въ высокой степени важное значеніе; по этому направленію Пушкинъ сдѣлалъ слѣдующій шагъ, послѣ Карамзина и Жуковскаго. Подобно тому какъ сентиментализмъ Карамзина былъ первой ступенью къ этическому индивидуализму, а сентиментальный псевдо-романтизмъ Жуковскаго—первой ступенью къ индивидуализму эстетическому, такъ и *байроническій псевдо-романтизмъ Пушкина былъ первой ступенью къ соціологическому индивидуализму.* Преобладаніе личности надъ обществомъ—то общее,

что̀ связываетъ воедино всѣхъ quasi-титаническихъ героевъ Пушкина; конечно, этотъ „соціологическій индивидуализмъ“ выраженъ еще въ самой примитивной, въ самой зачаточной формѣ, но наличность его сказывается все сильнѣе и сильнѣе отъ „Кавказскаго Плѣнника“ къ „Цыганамъ“. Свобода личности, сбросившей съ себя общественныя оковы и мѣщанскія путы, составляетъ главное содержаніе поэзіи Пушкина періода псевдо-романтизма (1820—1825 гг.)

Свобода! онъ одной тебя
Еще искалъ въ подлунномъ мірѣ,—

говоритъ Пушкинъ про своего плѣнника:—

Съ волненьемъ пѣсни онъ внималъ,
Одушевленныя тобою;
И съ вѣрой пламенной мольбою
Твой гордый, идолъ обнималъ.

Надо замѣтить однако, что здѣсь Пушкинъ и его alter ego, Плѣнникъ, ищутъ **не** одной свободы личности; эпоха созданія „Кавказскаго Плѣнника“ была, какъ извѣстно, эпохой самаго крайняго пушкинскаго либерализма, эпохой „Вольности“ и мечтаній объ „обломкахъ самовластья“ (I, 195). Въ „Цыганахъ“ этотъ „соціологическій индивидуализмъ“ сказывается уже несравненно яснѣе. „Въ Алеко—замѣчаетъ Бѣлинскій—Пушкинъ хотѣлъ показать образецъ человѣка, который до того проникнутъ сознаніемъ человѣческаго достоинства, что въ общественномъ устройствѣ видитъ одно только униженіе и позоръ этого достоинства“. Во всякомъ случаѣ передъ нами человѣкъ, бѣжавшій отъ мѣщанства общественной жизни:

. . . Когда-бъ ты знала,—

говоритъ онъ,—

Когда бы ты воображала
Неволю душныхъ городовъ!

Тамъ люди въ кучахъ, за оградой
Не дышатъ утренней прохладой,
Ни вешнимъ запахомъ луговъ,
Любви стыдятся, мысли гонятъ,
Торгуютъ волею своей,
Главы предъ идолами клонятъ
И просятъ денегъ да цѣпей...

Теперь, подъ сѣнью цыганскихъ шатровъ онъ упивается только „неоцѣненнымъ даромъ свободы" и „презираетъ оковы просвѣщенья" мѣщанской культуры. Здѣсь передъ нами уже не требованіе общественной свободы, а самоосвобожденіе личности; это первая въ русской литературѣ попытка разрубить гордіевъ узелъ проблемы „соціологическаго индивидуализма": мнѣ нѣтъ дѣла до общества и его совершенствованія, если при этомъ страдаю я, страдаетъ реальная человѣческая личность—провозгласитъ впослѣдствіи главный теоретикъ соціологическаго индивидуализма въ Россіи (Михайловскій). Таковы и несознанныя еще внутреннія переживанія Алеко: онъ освобождаетъ свою личность, не умѣя примирить личность и общество; онъ высказываетъ это и по отношенію всякой другой личности вообще. Его „дитя любви, дитя свободы" не будетъ знать „пышной суеты наукъ" и неволи душныхъ городовъ.

Отъ общества, быть можетъ, я
Отъемлю нынѣ гражданина,—

размышляетъ по этому поводу Алеко, и разрѣшаетъ свое сомнѣніе въ духѣ признанія первенства личности надъ обществомъ:

Что нужды?—Я спасаю сына...

Такимъ образомъ первые проблески соціологическаго индивидуализма въ типѣ Алеко несомнѣнны; но въ то же время намъ весьма важно подчеркнуть и одновременное отрицаніе въ немъ индивидуализма этическаго, что впервые отмѣтилъ тотъ же Бѣлин-

скій (конечно, съ иной терминологіей). Тотъ эгоизмъ, который такъ возмущалъ Бѣлинскаго въ Алеко, есть, какъ это мы уже знаемъ, рѣзкое отрицаніе этическаго индивидуализма. Человѣкъ выше общества, и въ этомъ смыслѣ человѣкъ—цѣль,—заявляетъ соціологическій индивидуалистъ Алеко; но для меня человѣкъ—средство,—тотчасъ прибавляетъ Алеко этическій анти-индивидуалистъ. „Ты для себя лишь хочешь воли",—такъ характеризуетъ старый цыганъ это эгоистическое отношеніе Алеко къ людямъ и къ міру; такимъ осужденіемъ и кончается поэма, а значитъ ошибка Алеко не дѣлается ошибкой міровоззрѣнія самого Пушкина. Для насъ въ „Цыганахъ" особенно интереснымъ является именно этотъ фактъ *одновременной наличности въ міровоззрѣніи человѣка соціологическаго индивидуализма и этическаго анти-индивидуализма;* впослѣдствіи намъ придется встрѣчаться съ этимъ фактомъ, и—что интереснѣе всего—даже у того самаго Бѣлинскаго, который съ такой силой возсталъ противъ этого смѣшенія...

Таковы „индивидуалистическіе" мотивы байроническаго псевдо-романтизма Пушкина; о мотивахъ „анти-мѣщанскихъ" мы уже говорили, отмѣчая борьбу великаго поэта съ литературнымъ мѣщанствомъ. Надо ли прибавлять, что самъ Пушкинъ въ концѣ концовъ сознаъ, что и его „байронизмъ" былъ также однимъ изъ этаповъ литературнаго мѣщанства? Самъ же онъ впослѣдствіи нанесъ послѣдній ударъ этому послѣднему проявленію литературнаго мѣщанства въ Россіи; пока же въ псевдоромантизмѣ Пушкина не было того разрыва съ обыденностью, которымъ характеризуется романтизмъ. Пушкинъ боролся и погибъ въ борьбѣ съ обыденностью жизни, съ мѣщанствомъ ея; но въ то же самое время Пушкинъ былъ слишкомъ земной человѣкъ, слишкомъ реалистъ по природѣ, чтобы стре-

миться къ разрыву съ обыденностью не только въ смыслѣ борьбы съ мѣщанствомъ, но и въ смыслѣ стремленія и проникновенія „за предѣлы предѣльнаго“, отрясая прахъ отъ всего земного. Ни единаго атома мистическаго настроенія не было въ груди Пушкина; онъ не былъ въ силахъ внять „неба содроганью“ и услышать „горній ангеловъ полетъ“; его влекъ и манилъ къ себѣ нашъ земной міръ, міръ трехъ измѣреній [1]).

Къ Пушкину намъ еще придется вернуться, а теперь, говоря о байроническомъ псевдо-романтизмѣ, нельзя пройти мимо Лермонтова, о которомъ также, впрочемъ, подробная рѣчь впереди. Байронизмъ Лермонтова носилъ совершенно иной характеръ по сравненію съ байронизмомъ Пушкина; Лермонтовъ чувствовалъ и понималъ, что главное значеніе романтизма Байрона въ такихъ его произведеніяхъ, какъ „Каинъ“ или „Манфредъ“,—произведеніяхъ, свидѣтельствующихъ, по мнѣнію Пушкина, объ упадкѣ таланта великаго англійскаго романтика. Особенное вниманіе Лермонтова останавливаетъ на себѣ „Каинъ“, съ титанической фигурой Люцифера; различные мотивы изъ „Каина“ взяты Лермонтовымъ эпиграфами къ одному изъ первоначальныхъ набросковъ „Демона“ (II, 50 [2]). „Вы счастливы?“— спрашиваетъ Каинъ Люцифера; „мы могучи“— отвѣчаетъ тотъ, и этимъ „motto“ Лермонтовъ желалъ вскрыть существо своего могучаго, гордаго духа изгнанья. Душа молодого Лермонтова была полна обаяніемъ имени англійскаго поэта; онъ тщательно подчеркиваетъ черты своего сходства съ Байрономъ, переводитъ Байрона, цитируетъ его

---

[1]) Подробное развитіе намѣченныхъ выше взглядовъ—въ нашей статьѣ о поэмахъ Пушкина (въ книгѣ «Пушкинъ и Бѣлинскій», 1916 г.).

[2]) Ссылки и цитаты по изданію 1891 г.

(см., напр., IV, 287—289; I, 89, 178; II, 139 и др.); онъ открыто заявляетъ въ одномъ стихотвореніи (1830 г.):

> ...Байрона достигнуть я-бъ хотѣлъ.
> У насъ одна душа, однѣ и тѣ же муки,
> О, еслибъ одинаковъ былъ удѣлъ!..

Правда, уже годъ спустя Лермонтовъ сознавъ, что онъ „не Байронъ, а другой еще невѣдомый избранникъ"; но это не мѣшало ему своей силой близко подходить къ титанизму Байрона „Я чувствую въ душѣ своей силы необъятныя"—говорилъ alter ego Лермонтова, Печоринъ, и силы эти особенно рельефно выдѣляются при сопоставленіи съ тщетными потугами на силу байроническихъ типовъ Пушкина. И все-таки байронизмъ Лермонтова не былъ титанизмомъ, и романтизмъ его былъ псевдоромантизмомъ.

Возьмемъ, напримѣръ, лермонтовскаго Демона, это любимое созданіе поэта, прошедшее черезъ все его творчество (1829—1840 г.). Этотъ Демонъ— „могучій образъ", „гордый и нѣмой" („Сказка для дѣтей", 1841 г.); его могучій взоръ сверкаетъ неотразимо, какъ кинжалъ (II, 39); онъ „царь познанья и свободы". измѣрившій „пучину гордаго познанья" (II, 33, 39). Все это приближаетъ Демона къ титаническому облику Люцифера, могучаго Master of Sbirits; но тутъ же сразу бросается въ глаза и рѣзкая разница между ними. Прежде всего Демонъ, этотъ плохо загримированный Лермонтовъ, не великій, могучій, далекій отъ жизни, запредѣльный духъ, подобно Люциферу; онъ близокъ къ жизни, близокъ къ людямъ, настолько близокъ, что не отказывается даже отъ мелкихъ людскихъ наслажденій и еще болѣе мелкихъ злодѣйствъ (см., напр., II, 35—6). Въ немъ, также какъ и въ самомъ Лермон-

товѣ, сочетается глубокій пессимизмъ съ глубокой жаждой жизни, стремленіе къ людямъ съ „ненавистью къ нимъ. Изъ-за своей безконечной запредѣльности Демонъ тяготѣетъ къ землѣ, завидуетъ „неполнымъ радостямъ людей" (II, 33; ср. II, 113). Одно это уже сводитъ съ титаническаго пьедестала демоническіе типы Лермонтова и дѣлаетъ его романтизмъ псевдо-романтизмомъ.

Ограничиваясь пока этими немногими строками и забѣгая нѣсколько впередъ, мы должны однако отмѣтить, что въ Россіи Лермонтовъ единственный такъ близко подошелъ къ религіозному романтизму, къ мистическому проникновенію въ природу. Въ этой близости къ романтизму и въ безсиліи проникнуть за предѣлы предѣльнаго — вся глубокая трагедія лермонтовской жизни; въ ненависти къ мѣщанству и въ безсиліи разорвать съ обыденностью—причина гибели второго великаго русскаго поэта... Мы теперь временно оставляемъ его, чтобы перейти къ третьему и послѣднему роду романтизма въ русской литературѣ, къ „романтикѣ чувства", къ тому, что мы условно и въ узкомъ смыслѣ назвали „эстетическимъ романтизмомъ". Мы переходимъ теперь къ третьему и послѣднему фазису развитія романтизма на русской почвѣ, обратившемуся не только въ псевдо-романтизмъ, но кромѣ того и въ типичнѣйшее литературное мѣщанство.

VII.

Пушкинъ съ обычной своей проницательностью еще въ самомъ началѣ 20-хъ годовъ пророчески предсказывалъ расцвѣтъ романтизма во „Франціи: „романтизма нѣтъ еще во Франціи,—писалъ онъ въ 1823 г.,—а онъ-то и возродитъ умершую поэзію.

Помни мое слово: первый поэтическій геній въ отечествѣ Буало ударится въ такую свободу, что—что твои нѣмцы!“ (VII, п. 44; ср. еще п. 115, 143, 151 и др.). Такъ Пушкинъ предсказалъ Виктора Гюго (къ которому, впрочемъ, самъ относился отрицательно), этого дѣйствительно перваго романтика во Франціи: до него Шатобріанъ, со своей апологіей средневѣковаго католицизма, былъ только вторымъ изданіемъ Новалиса-Гарденберга; а современники его, слезливый Ламартинъ и слащавый де-Виньи были типичеными сентиментальными псевдо-романтиками. Новое слово романтизма во Франціи сказалъ только Викторъ Гюго, вмѣстѣ со спутниками меньшей величины, въ родѣ Мюссе; у него мы находимъ яркую и глубокую романтику чувства,—между прочимъ и чувства любви. Въ своемъ революціонномъ романтизмѣ онъ выходилъ „за предѣлы предѣльнаго“, также какъ и въ изощренности тѣхъ страстей, которыми онъ щедро одѣлялъ своихъ героевъ. Многое изъ всего этого теперь очень устарѣло, очень наивно, но что касается самой формы его произведеній, то ее ярче всего можно опредѣлить, какъ геніальную романтическую реторику. Фейерверкъ блестящихъ сравненій, неожиданныя метафоры, исключительность хода мыслей, пересыпанныхъ антитезами—вотъ та внѣшняя, показная сторона его таланта, которая обратила на себя главное вниманіе его подражателей.

Въ русской литературѣ такой „романтизмъ“ явился не только вслѣдствіе подражанія Гюго, но и независимо отъ него, въ формѣ разложенія невѣрно понятаго байронизма; такимъ „романтизмомъ насыщены, напримѣръ, почти всѣ юношескія произведенія Лермонтова, причемъ на послѣднемъ несомнѣнно отразилось прежде всего вліяніе Бестужева-Марлинскаго. Еще Пушкинъ замѣтилъ, что молодые писатели, желая изобразить глубокія и сильныя движенія страстей, заставляютъ

своихъ героевъ содрогаться, дико хохотать, скрежетать зубами и т. п. (V, 121). Такимъ „молодымъ писателемъ“ былъ и Лермонтовъ въ своихъ юношескихъ драмахъ и повѣстяхъ 1830—1832 г. Произведенія эти еще вполнѣ дѣтскія, наивныя, съ курьезными историческими ошибками (въ „Вадимѣ“, напримѣръ, уральскіе казаки говорятъ по-малорусски: „бисъ“, „панъ“, „ляхъ“... Это для couleur local—въ Симбирской губерніи), съ трескучими эффектами, съ картонными манекенами вмѣсто дѣйствующихъ лицъ. Манекены эти на каждомъ шагу дико смотрятъ и дико хохочутъ, черезъ два слова въ третье восклицаютъ „адъ и проклятье“!, а услышавъ „пѣсню русскую со свирѣлью“, приходятъ въ экстазъ: „Какіе звуки! они поразили мою душу!.. Кто ихъ произвелъ? Не съ неба ли, не изъ ада ли?“... (IV, 166; ср., напр., IV, 98, 167, 176—178; III, 260; IV, 168, 170, 175, 180, 184, 215, 228; III, 263 и мн. др.). Конечно, такое теченіе было у Лермонтова мимолетнымъ (хотя отразившимся еще въ 1835 г. на типѣ Арбенина въ „Маскарадѣ“, ср. д. II, явл. 2); онъ вскорѣ стряхнулъ съ себя иго этого псевдо-романтизма исключительности страстей и ихъ выраженія; къ тому же всѣ эти полудѣтскія произведенія Лермонтова въ то время не увидѣли свѣта. Общепризнаннымъ „романтикомъ чувства“ той эпохи былъ Бестужевъ-Марлинскій.

Для Бестужева-Марлинскаго Гюго стоялъ едва ли не выше Шекспира. „Передъ Гюго я ницъ,—писалъ онъ въ самомъ началѣ тридцатыхъ годовъ:—это уже не даръ, а геній во весь ростъ... Да, Гюго геній и неподдѣльный“... Къ Гюго Бестужевъ, по собственному признанію, относился „съ жаромъ удивленія и съ завистью безсильнаго соревнованія“; это дѣйствительно безсильное соревнованіе привело къ тому, что самыя произведенія Бестужева являлись не-

намѣренной пародіей Гюго. Первыя его произведенія (напр., „Замокъ Нейгаузенъ“, „Романъ и Ольга“, 1823 г.) написаны еще въ духѣ сентиментальнаго романтизма, на позднѣйшихъ же отразились всѣ отрицательныя стороны утрированной романтики чувства: манерная напыщенность, ходульность, изобиліе фальшивыхъ и надутыхъ метафоръ—все это довелъ до мертвой однообразности разлагающійся русскій псевдо-романтизмъ. Бѣлинскій въ свое время блестяще вскрылъ все безнадежное мѣщанство этого литературнаго теченія, такъ что едва ли есть необходимость выяснять, что и въ области романтики чувства въ Россіи не было и не могло быть истиннаго романтизма.

Сильныя страсти выражаются у Бестужева-Марлинскаго только патетическими восклицаніями. Если нужно изобразить сильное горе, то достаточно заставить какую-нибудь бѣдную Эмму закричать „дикимъ голосомъ“ и упасть „какъ трупъ“; если на сцену выводится злодѣй, то взглядъ его такъ свирѣпъ и пронзителенъ, что убиваетъ на лету ласточекъ (!); если авторъ хочетъ нарисовать влюбленную женщину, то онъ сообщитъ, что „весь составъ Полины прыщетъ искрами“ (!), или что она „какъ пробка летаетъ по мятежнымъ бурунамъ противоположныхъ страстей“. Всѣ герои Бестужева-Марлинскаго носятъ „адъ въ душѣ“, такъ что если бы мы могли заглянуть въ эту душу, то мы ужаснулись бы,—такъ по крайней мѣрѣ увѣряетъ одинъ изъ нихъ. Героямъ этимъ вездѣ дорога, имъ все возможно: вотъ одинъ изъ нихъ, капитанъ фрегата, изящно помахиваетъ горящей свѣчей въ пороховой камерѣ корабля—и ничего, не взлетаетъ вмѣстѣ съ кораблемъ на воздухъ; вотъ другой падаетъ вмѣстѣ съ конемъ со снѣговой горы и летитъ „въ глубину по крайней мѣрѣ полуверсты“,—конь обращается въ лепешку, издыхаетъ подъ гру-

зомъ лавинъ, герой же только отряхиваетъ съ себя снѣгъ...

Запутанность, превыспренность и туманность рѣчи, обиліе восклицательныхъ, вопросительныхъ знаковъ и многоточій должны придать рѣчи таинственный смыслъ и досказать неразсказанное словами; обиліе метафоръ должно придать рѣчи печать необыденности. И Бестужевъ-Марлинскій доходитъ на этомъ пути до геркулесовыхъ столповъ; его образы и сравненія —это просто рядъ шарадъ, съ предшествующее имъ рѣшеніемъ. Отгадайте, напримѣръ, что такое „ягоды полей воздушныхъ"?—это капли дождя; „юный скелетъ, не одѣтый дубовой плотью"?— это корабельный остовъ; „ржавыя, тяжкія латы бытія"—это жизнь; „чердакъ человѣческаго разума"?— это затылокъ (!), и т. д., и т. д., на каждой страницѣ, на каждомъ шагу, безъ числа, безъ мѣры, безъ надобности. Одинъ изъ талантливѣйшихъ русскихъ публицистовъ, загубившій свой большой талантъ въ безвременьи николаевской эпохи, Сенковскій, ядовито и зло высмѣялъ всю эту надутую шумиху фразъ, ходульность демоническихъ страстей, таинственность недоговоренныхъ словъ; въ его „Большомъ выходѣ у Сатаны" (1833 г.) „чортъ романтизма" такъ объясняется съ Сатаной: „Увы!..!!!..??..?!..!!!!!!!..! я страдалъ...!!!.. я жестоко страдалъ!!!...!..!..!..? Мрачная влажность проникла въ стѣны души моей; гробовая сырость ея вторгнулась, какъ измѣна, въ мой мозгъ, и мое воображеніе, вися неподвижно въ семъ тяжеломъ, мокромъ, холодномъ туманѣ болѣзненности, мерцало только свѣтомъ слабымъ, блѣднымъ, дрожащимъ, неровно мелькающимъ, похожимъ на ужасную улыбку рока, поразившаго острогою свою добычу,— оно мерцало свѣтомъ лампады, внесенной рукою гонимаго въ убійственный воздухъ пещеры ужаса и смрада, заваленной гніющими трупами и хохочущими

остовами...—Что это значитъ?—восклицаетъ изумленный Сатана.—Это значитъ??.!!!..?..!!!!!..! это значитъ, что у меня былъ насморкъ"!—отвѣчаетъ чортъ романтизма...

У Бестужева-Марлинскаго и его подражателей и подражателей Кукольника въ области драмы и Бенедиктова въ области версификаціи—мы встрѣчаемся уже съ полнымъ разложеніемъ псевдо-романтизма, съ обращеніемъ его въ литературное мѣщанство. И при этомъ интереснѣе всего то, что этотъ „романтизмъ" затѣмъ только и напускалъ на себя всю эту напыщенность, ходульность и выспренность, чтобы возстать противъ мѣщанства жизни и ея обыденности; отсюда и созданіе всѣхъ этихъ героевъ съ исключительными страстями, всѣхъ этихъ героинь, составъ которыхъ прыщетъ искрами. Въ ультраромантизмѣ Бестужева-Марлинскаго мы имѣемъ послѣднюю вспышку литературнаго мѣщанства, окончательно добитаго рукою Пушкина, а впослѣдствіи Лермонтова и Гоголя. Замѣтимъ кстати, что мы ограничиваемся здѣсь разборомъ россійскаго „эстетическаго романтизма" исключительно со стороны его *формы*; крупное значеніе того же Бестужева-Марлинскаго въ исторіи развитія русской повѣсти оставляется нами въ сторонѣ. Въ свое время значительность этого содержанія была несомнѣнной и была погублена лишь реторикой формы,—но именно въ послѣдней и лежитъ причина, сдѣлавшая изъ русскаго романтизма характернѣйшій псевдо-романтизмъ.

Послѣдній, слабый отзвукъ „романтизма" у Пушкина—это его „Пиковая дама" (1834 г.); но уже гораздо раньше Пушкинъ повелъ борьбу съ россійскимъ романтизмомъ, быть можетъ, самъ не сознавая этого; по крайней мѣрѣ создавая своего „Бориса Годунова", Пушкинъ считалъ его „романтической трагедіей" и боялся, что „робкій вкусъ

нашъ не стерпитъ истиннаго романтизма" (VII, п. 121 и 151). Въ „Повѣстяхъ Бѣлкина" (1830 г.) послѣ слабаго отзвука былыхъ попытокъ обрисовать въ „Выстрѣлѣ" сильный и мрачный характеръ, Пушкинъ въ „Барышнѣ-Крестьянкѣ" даетъ насмѣшливо набросанный портретъ одного изъ излюбленныхъ героевъ Бестужева-Марлинскаго: мрачный, разочарованный герой, а въ сущности просто добрый малый, говоритъ объ увядшей юности, утраченныхъ радостяхъ, и носитъ черное кольцо съ изображеніемъ мертвой головы... „Все это было чрезвычайно ново въ той губерніи",—иронически замѣчаетъ Пушкинъ (IV, 77); успѣхъ повѣстей Бестужева-Марлинскаго показалъ, однако, что этой губерніей была вся Россія, вся читающая толпа [1]). Десять лѣтъ спустя и Лермонтовъ нанесъ ударъ вырождающемуся „романтизму" своей ядовитой пародіей на героевъ Бестужева-Марлинскаго въ „Героѣ нашего времени" (типъ Грушницкаго). Грушницкій важно драпируется „въ необыкновенныя чувства, возвышенныя страсти и исключительныя страданія"; вы сейчасъ же узнаете въ немъ любого изъ безчисленныхъ героевъ россійскаго „романтизма", съ той только разницей, что передъ нами живой человѣкъ, а не кукла восковая. Грушницкій—одинъ изъ послѣднихъ ударовъ литературному мѣщанству, во оставленіе грѣховъ юности самого Лермонтова съ его мелодраматическими героями.

Но, конечно, не отдѣльные булавочные уколы покончили съ послѣднимъ звеномъ мѣщанства формы въ русской литературѣ; вѣдь литературное мѣщанство отмирающаго псевдо-романтизма покоилось на

---

[1]) Кстати замѣтимъ: въ одномъ мѣстѣ этой повѣсти Пушкинъ единственный разъ упоминаетъ объ индивидуализмѣ, находя главнымъ достоинствомъ человѣка „особность характера, самобытность (individualité), безъ чего, по мнѣнію Жанъ-Поля, не существуетъ и человѣческаго величія"; IV, 77. Но это только между прочимъ.

такой широкой базѣ, какъ система оффиціальнаго мѣщанства николаевской эпохи, чѣмъ и объясняется его сравнительно долгая живучесть. Послѣднія вспышки мѣщанскаго „романтизма“ (Бенедиктовъ) умираютъ вмѣстѣ со смертью эпохи политическаго мѣщанства; но, начиная еще съ тридцатыхъ годовъ, „романтизмъ“ все болѣе и болѣе теряетъ почву въ литературѣ и въ жизни, въ кругахъ интеллигенціи, погибая подъ напоромъ того новаго теченія, которое выступило на смѣну романтизму. *Реализмъ*, понимаемый не только какъ литературное направленіе, но и какъ вѣчное свойство человѣческаго духа, заглушилъ всѣ жалкіе всходы псевдо-романтизма на русской почвѣ и закончилъ собою періодъ борьбы съ литературнымъ мѣщанствомъ. Romantica poësis extitit et jam non extitit,—романтическая поэзія существовала и уже не существуетъ—таковъ былъ одинъ изъ тезисовъ диссертаціи Надеждина въ 1830 г. Какъ ни невѣрно понималъ значеніе романтизма Надеждинъ, но тезисъ его безспорно справедливъ: послѣ появленія „Евгенія Онѣгина“, „Бориса Годунова“ русскій псевдо-романтизмъ окончилъ свои дни, чтобы больше не воскреснуть. Впрочемъ, какъ разъ ко времени „начала конца“ литературнаго романтизма, среди русской интеллигенціи 30-хъ годовъ возникъ новый романтизмъ, на этотъ разъ „философскій“; но и этотъ „философскій романтизмъ“ не прибавитъ ничего существенно новаго къ сложившемуся уже у насъ пониманію. Мы можемъ поэтому перейти къ общимъ выводамъ и заключеніямъ о значеніи литературныхъ направленій первыхъ трехъ десятилѣтій XIX-го вѣка.

Мы видимъ за этотъ періодъ времени въ русской литературѣ и жизни прежде всего *упорную борьбу съ литературнымъ мѣщанствомъ и побѣду надъ нимъ*. Сентиментализму принадлежитъ честь начала сознательной борьбы съ мѣщанствомъ псевдо-

классицизма, и въ короткое время литературное мѣщанство оказывается разбитымъ по всѣмъ пунктамъ. Главный представитель русскаго сентиментализма, Карамзинъ, является въ то же время первымъ сознательнымъ противникомъ не только литературнаго, но и этическаго мѣщанства, не только мѣщанства формы, но и мѣщанства содержанія. Но уже въ самомъ началѣ XIX-го вѣка отчасти у самого Карамзина, а большею частью у его эпигоновъ, сентиментализмъ обращается въ такое же мѣщанство, какимъ былъ въ свое время ложно-классицизмъ; на борьбу съ этимъ новымъ видомъ литературнаго мѣщанства выступаетъ сентиментальный романтизмъ Жуковскаго, и „Арзамасъ“ безъ труда достигаетъ своей цѣли—прихлопнуть врага летучей эпиграммой. Выродившійся сентиментализмъ, вступившій въ тѣсный союзъ съ ложно-классицизмомъ, находитъ свой вполнѣ своевременный конецъ въ этой борьбѣ; но освободившееся мѣсто литературно-мѣщанскаго теченія не остается вакантнымъ: побѣдитель попадаетъ въ сѣти побѣжденнаго, и сентиментальный романтизмъ становится литературнымъ мѣщанствомъ. „Русланъ и Людмила“ молодого Пушкина наноситъ смертельный ударъ мѣщанству сентиментальнаго романтизма, но тутъ же и самъ Пушкинъ, а еще болѣе его подражатели впадаютъ въ новый родъ литературнаго мѣщанства своимъ неудачнымъ подраженіемъ Байрону. Литературѣ приходится затѣмъ испытать еще мѣщанство крикливаго „романтизма“ Бестужева-Марлинскаго и присныхъ его, чтобы вмѣстѣ съ Пушкинымъ вступить на новый жизненный путь реализма.

Ложно-классицизмъ, крайній сентиментализмъ, крайности сентиментальнаго романтизма и байронизма, наконецъ псевдо романтизмъ — таковы тѣ пять звеньевъ, которыя составляютъ цѣпь литера-

турнаго мѣщанства конца XVIII и начала XIX вѣка. Каждое предшествующее было побѣждено своимъ послѣдующимъ и въ то же время побѣдило его, ибо засосало въ болото литературнаго мѣщанства: le mort saisit le vif. Два крайнихъ звена этой цѣпи ближе всего подходятъ другъ къ другу, ибо и псевдо-классицизмъ, и крайній псевдо-романтизмъ совпадаютъ въ своемъ литературномъ мѣщанствѣ по средствамъ, по цѣлямъ и по идеаламъ: мы видѣли, что средство обоихъ—напыщенность и ходульность драматизма, цѣль ихъ—поразить читателя, идеалъ ихъ—героическій. По сравненію съ этимъ внутреннимъ сходствомъ всѣ внѣшнія различія между ложно-классицизмомъ и псевдо-романтизмомъ отступаютъ на второй планъ. Такимъ образомъ литературное мѣщанство совершило кругъ и замкнуло цѣпь; исчерпавъ всѣ свои средства, оно должно было сойти со сцены и уступило свое мѣсто широкому и глубокому въ своемъ индивидуализмѣ реалистическому теченію. Мы указываемъ здѣсь только на *формальные признаки* мѣщанства; содержаніе его измѣнчиво и за эволюціей его въ первую четверть XIX-го вѣка въ русской литературѣ мы слѣдили шагъ за шагомъ.

Прослѣдили мы также и за постепенной эволюціей индивидуализма за это же время и можемъ сказать, что установили *неуклонное движеніе по направленію отъ абстрактнаго человѣка къ реальной личности*. Мы видѣли, что въ сентиментализмѣ реальная личность впервые выступила впередъ изъ-за абстрактнаго человѣка, поставила на первое мѣсто непосредственныя переживанія индивидуума; еще болѣе пошелъ впередъ по этому направленію Жуковскій, этотъ поэтъ субъективнаго чувства. Въ общественномъ отношеніи это ознаменовалось и у Карамзина и у Жуковскаго проповѣдью философіи квіетизма, а значитъ и окончательнымъ, демонстратив-

нымъ разрывомъ всякой связи съ „абстрактнымъ человѣкомъ“. Выступленіе впередъ реальной личности стало еще болѣе яснымъ въ байронизмѣ Пушкина, но въ то же самое время Пушкинъ отказался отъ философіи политическаго и общественнаго застоя и велъ борьбу за самоосвобожденіе реальной личности, признавая одновременно и необходимость борьбы за права человѣка. Въ этомъ—связь Пушкина съ освободительнымъ движеніемъ декабристовъ. Его Алеко— попытка разрубить гордіевъ узелъ проблемы личности и общества, крайняя ступень достигнутаго въ то время въ русской литературѣ соціологическаго индивидуализма. На этомъ пути мы отмѣтили постепенный переходъ отъ первыхъ проблесковъ этическаго индивидуализма Карамзина къ зачаткамъ эстетическаго индивидуализма Жуковскаго и къ болѣе яркому по своей опредѣленности соціологическому индивидуализму Пушкина. Мы увидимъ, что Пушкинъ соединилъ въ своемъ творчествѣ всѣ три рода индивидуализма и явился такимъ образомъ заключительнымъ аккордомъ всей первой четверти XIX го вѣка, общее направленіе которой въ борьбѣ съ мѣщанствомъ и въ развитіи индивидуализма разобрано нами на предыдущихъ страницахъ. Повторяемъ еще разъ: борьба съ литературнымъ мѣщанствомъ и пораженіе его - съ одной стороны, движеніе отъ „абстрактнаго человѣка“ къ „реальной личности“ —съ другой, вотъ тѣ выводы, которые стоятъ передъ нами и которыми можно резюмировать содержаніе исторіи русской интеллигенціи за первую четверть XIX-го вѣка.

Декабристы.

I.

Начало второй четверти XIX-го вѣка ознаменовалось цѣлымъ рядомъ событій громадной важности, цѣлымъ рядомъ переворотовъ. 1825 годъ является гранью, рубежомъ, съ котораго беретъ свое начало новая политическая система, новая государственная эпоха; это годъ неудачной попытки политическаго переворота, и годъ коренного переворота литературнаго; это, наконецъ, годъ гибели революціоннаго романтизма и романтическаго либерализма, годъ разгрома и гибели всей лучшей части русской интеллигенціи, и годъ зарожденія новаго зерна интеллигенціи, принесшаго вскорѣ такіе богатые плоды.

Карамзинъ знаменуетъ собою, какъ мы имѣли случай замѣтить, попятное движеніе въ области интеллектуальнаго развитія русской интеллигенціи; но мы видѣли, что ему же принадлежитъ заслуга созданія новыхъ кадровъ этой интеллигенціи. Соціальные и политико-экономическіе запросы Радищева и вообще всей группы интеллигенціи шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ XVIII-го вѣка казались слишкомъ мудреными широкому слою сентименталистовъ начала XIX-го столѣтія; но въ этомъ широкомъ слоѣ немедленно произошло расчлененіе. Мало-помалу сталъ объединяться тѣсный кружокъ лицъ, которыя соединили „гуманитетъ“ сентиментализма съ глубокимъ интересомъ къ общественнымъ, эконо-

мическимъ, политическимъ и правовымъ проблемамъ. Отъ Радищева и Новикова черезъ Пнина и дѣятелей перваго десятилѣтія XIX-го вѣка къ декабристамъ, дѣятелямъ двадцатыхъ годовъ (1816—1825 г.), можетъ быть установлена тѣсная идейная связь и преемственность; Радищевъ подаетъ руку Рылѣеву, общественный сентиментализмъ перваго роднится съ революціоннымъ романтизмомъ второго, а Карамзинъ, со своей философіей постепеновства, малыхъ дѣлъ и самосовершенствованія, стушевывается въ послѣднихъ рядахъ русской интеллигенціи. Интересно отмѣтить однако то революціонизирующее вліяніе, которое оказалъ на декабристовъ и вообще на все русское общество Карамзинъ, самъ того не желая, IX-мъ томомъ своей „Исторіи", появившимся въ 1821 г. и посвященнымъ разсказу о царствованіи Іоанна Грознаго; фактъ этотъ подчеркиваютъ въ своихъ воспоминаніяхъ сами декабристы. Точно также сами они указываютъ на идейную преемственность между собою, поколѣніемъ Пнина и интеллигенціей XVIII-го столѣтія — Новиковымъ, Радищевымъ, масонами; декабристъ баронъ Штейнгель, въ своемъ письмѣ (11 янв. 1826 г.) къ Николаю I изъ Петропавловской крѣпости, указываетъ на значеніе Новикова для „просвѣщенія Россіи" и говоритъ, что ученики и послѣдователи Новикова „первые явились на сценѣ, когда при началѣ царствованія въ Бозѣ почившаго государя открылось вожделѣнное намѣреніе его просвѣтить Россію и уничтожить въ ней рабское состояніе". Нѣкоторые изъ этихъ людей, какъ, напримѣръ, Пнинъ, рано сошли со сцены; другіе, подобно Н. И. Тургеневу, послужили живой связью не только между интеллигенціей XVIII-го вѣка и декабристами, но даже между этой интеллигенціей новиково-радищевскаго кружка и поколѣніемъ начала шестидесятыхъ годовъ XIX-го вѣка (Н. Тургеневъ

родился въ 1789 г., а умеръ въ 1871 г.). Радищевъ и Чернышевскій! Эти два имени, раздѣленныя почти столѣтіемъ, связаны между собою тѣснѣе, чѣмъ это можно было бы думать; живымъ мостомъ между ними является Н. Тургеневъ, на замѣчательной личности котораго мы скоро остановимся.

Итакъ, преемственная связь декабристовъ съ интеллигенціей XVIII-го вѣка устанавливается ими же самими: сами они устанавливаютъ также и свою связь съ масонствомъ. Даже въ XVIII-мъ вѣкѣ не пользовалась особеннымъ успѣхомъ та группа русскаго масонства, которая обращала главное вниманіе на внѣшнюю, обрядовую сторону и пыталась быть мистической; типичные реалисты, русскіе масоны въ общемъ никогда не были „романтиками“ по типу міропониманія и мистиками; съ еще большимъ правомъ это можно повторить о декабристахъ. Весь оффиціальный мистицизмъ этой эпохи, проповѣдь Татариновой и Крюднеръ, совершенно не коснулись декабристовъ, и прошли мимо русскаго общественнаго движенія и русской интеллигенціи; напротивъ, декабристы находились въ явной враждѣ со всей этой оффиціальной мистикой: укажемъ, напримѣръ, на рѣзкое осужденіе этого „періода мистицизма“ Штейнгелемъ, въ его вышеотмѣченномъ письмѣ. Тщетными остались поэтому и всѣ попытки направить глубокое общественное теченіе двадцатыхъ годовъ по старому масонски-обрядовому руслу. Многіе декабристы прошли черезъ масонство—достаточно указать хотя бы на Пестеля, который между 1812 и 1817 гг. принадлежалъ сначала къ масонской ложѣ „Les amis reünis“, а затѣмъ къ ложѣ „Трехъ добродѣтелей“ (см. его показанія отъ 22 дек. 1825 г.) и находился подъ вліяніемъ племянника Новикова. Подъ вліяніемъ Пестеля масонскія формы были усвоены и первымъ обществомъ декабристовъ—

Союзомъ Спасенія, но попытка оказалась тщетной и масонскія формы были ближайшимъ поводомъ разложенія Союза Спасенія,—такъ по крайней мѣрѣ утверждаетъ въ своихъ „Запискахъ“ такой компетентный свидѣтель, какъ кн. Трубецкой. Когда изъ Союза Спасенія родился Союзъ Благоденствія, то многіе его члены—говоритъ Якушкинъ—„были ревностные масоны; они привыкли въ ложахъ разыгрывать безсмыслицу, нисколько этимъ не смущаясь, и имъ желалось нѣкоторый порядокъ масонскихъ ложъ ввести въ Союзъ Благоденствія“ („Записки“, стр. 25). Уже по одному тону этого отзыва Якушкина можно судить объ отношеніи большинства декабристовъ къ подобной затѣѣ; и Пестель уже съ 1817 года смотрѣлъ съ усмѣшкой на „игрушки прежнихъ лѣтъ“, по его выраженію. Связь съ масонствомъ у декабристовъ была не внѣшняя; была внутренняя идейная связь, но не было и не могло быть тождественности внѣшнихъ формъ; между Новиковымъ съ одной стороны и Пестелемъ или Н. Тургеневымъ съ другой лежалъ цѣлый періодъ громадной важности для русскаго самосознанія—періодъ національныхъ и освободительныхъ войнъ.

Новыя птицы—новыя пѣсни, и пѣсни во всякомъ случаѣ не похожія на тѣ, которыя щебеталъ на четверть вѣка ранѣе авторъ „Писемъ русскаго путешественника“. Въ 1790 г. онъ восхищался въ Европѣ „прелестной Натурою“, плакалъ „отъ умиленія и щастія“ въ горахъ швейцарскихъ, „лобызалъ берегъ зеленаго Рейна“ и пренебрежительно смотрѣлъ на какую-то тамъ французскую революцію; четверть вѣка спустя воспитанное на его „Письмахъ“ поколѣніе вернулось послѣ трехлѣтнихъ скитаній по Европѣ съ совершенно иными впечатлѣніями и чувствами. „Кампаніи 12-го года и послѣдующихъ

13 и 14 гг.—пишетъ въ своихъ воспоминаніяхъ князь Волконскій—...сблизили насъ съ Европой, съ установленіями ея, порядкомъ управленія и народными гарантіями; противоположность нашего государственнаго быта, ничтожество нашихъ народныхъ правъ, скажу, гнетъ нашего государственнаго управленія—рѣзко выказались уму и сердцу многихъ"... („Записки", гл. XLV). И всѣ декабристы единогласно подтверждаютъ такое показаніе кн. Волконскаго. „Пребываніе цѣлый годъ въ Германіи и потомъ нѣсколько мѣсяцевъ въ Парижѣ не могло не измѣнить воззрѣнія хоть сколько-нибудь мыслящей русской молодежи; при такой огромной обстановкѣ каждый изъ насъ сколько-нибудь выросъ"—пишетъ Якушкинъ, отмѣчая, что по окончаніи освободительныхъ войнъ русской интеллигентной молодежи „было невыносимо смотрѣть на пустую петербургскую жизнь и слушать болтовню стариковъ, выхваляющихъ все старое и порицающихъ всякое движеніе впередъ; мы ушли отъ нихъ на сто лѣтъ впередъ" („Записки", стр. 2—4). Это интересное мѣсто изъ воспоминаній Якушкина объясняетъ намъ типъ Чацкаго и его прототипъ—Чаадаева; оно объясняетъ намъ, что „декабризмъ" (какъ для краткости мы позволимъ себѣ условно обозначить идейное теченіе двадцатыхъ годовъ) былъ одновременно и борьбой и за свободу личности, и борьбой съ мѣщанствомъ „пустой жизни"; идеологомъ декабризма въ послѣднемъ отношеніи долженъ считаться Грибоѣдовъ. Но о борьбѣ съ этическимъ мѣщанствомъ—рѣчь впереди; здѣсь достаточно указать на то, что декабризмъ, въ борьбѣ за свободу человѣка, вернулся къ исходной точкѣ революціонеровъ XVIII вѣка и повелъ *политическую* борьбу за *соціальное* раскрѣпощеніе. И мы уже знаемъ о вліяніи походовъ 1812—1815 гг. на возрожденіе этой идеи Радищева. Остановимся-же

теперь на этомъ вліяніи заграничной „огромной обстановки“, о которомъ мы уже слышали слова и Якушкина и Волконскаго.

Одинъ изъ главарей декабристовъ, Никита Муравьевъ, въ своемъ показаніи на слѣдствіи указалъ, какое впечатлѣніе произвели на него—и не на одного его—„прокламаціи союзныхъ державъ въ 1813 г., предлагавшія народамъ Германіи представительное правленіе вмѣсто награды за ихъ усилія“... И Каховскій, въ первомъ изъ своихъ замѣчательныхъ писемъ (отъ 24 февр. 1826 г.), написанныхъ въ Алексѣевскомъ равелинѣ, вспоминаетъ о войнѣ 1813—1814 гг., которую вели „всѣ народы Европы, призванные монархами, воспламененные воззваніемъ къ свободѣ и гражданскому бытію... Свободу проповѣдывали намъ и манифесты, и воззванія, и приказы! Насъ манили, и мы, добрые сердцемъ, повѣрили, не щадили ни крови своей, ни имуществъ“...—и получили въ награду реакціонный Священный Союзъ трехъ императоровъ, этотъ „союзъ королей противъ народовъ“, по выраженію Н. Тургенева. „Тогда-то—пишетъ императору Николаю изъ крѣпости декабристъ Бестужевъ-Марлинскій—стали говорить военные: для того ли освободили мы Европу, чтобы наложить ея цѣпи на себя? для того ли дали конституцію Франціи, чтобъ не смѣть говорить о ней...?“

Одно время можно было впрочемъ предполагать, что русское общество находится наканунѣ политической реформы сверху: Польшѣ дана была конституція, и въ своей рѣчи при открытіи въ 1818 г. перваго сейма Александръ I заявилъ, что и Россія получитъ конституцію, „когда достигнутъ необходимаго развитія основы столь важнаго дѣла“. Рѣчь эта, по замѣчанію уже цитированнаго нами Штейнгеля, была напечатана въ русскихъ газетахъ и „польстила надеждѣ

либераловъ", но въ общемъ была принята русской интеллигенціей холодно и далеко не такъ, какъ это ожидалось свыше: интеллигенція къ этому времени разочаровалась въ возможности *получить* политическую реформу и сознала, что ее можно только *добыть*. Пушкинъ въ ядовитой эпиграммѣ „Noël" высмѣялъ тѣхъ довѣрчивыхъ либераловъ, которые повѣрили въ политическую реформу сверху:

...Отъ радости въ постелѣ
Запрыгало дитя:
„Неужто въ самомъ дѣлѣ,
Неужто не шутя?"...

Въ отвѣтъ мать совѣтуетъ наивному дитяти:

„. . . бай-бай,
Закрой свои ты глазки!
Пора уснуть бы, наконецъ,
Послушавши, какъ царь-отецъ
Разсказываетъ сказки"...

Скептицизмъ этотъ очень скоро оказался вполнѣ соотвѣтствующимъ дѣйствительности — начиналось время аракчеевщины; русской интеллигенціи мало-по-малу становилось яснымъ, что политической реформы нельзя будетъ добиться безъ политическаго переворота. Мысль эта напрашивалась сама собою, стоило только обратиться къ исторіи западной Европы и къ періоду той освободительной войны, которая имѣла такое развивающее вліяніе на русскую интеллигенцію. Пестель очень ясно выразилъ эту мысль и обрисовалъ типичный путь ея развитія; и то, что онъ говоритъ о себѣ, мы можемъ распространить на всѣхъ декабристовъ. „Происшествія 1812, 13, 14 и 15 гг., равно какъ предшествовавшихъ и послѣдовавшихъ временъ—пишетъ Пестель въ своемъ слѣдственномъ показаніи—показали столько престоловъ низверженныхъ, столько другихъ постановленныхъ, столько царствъ уничтоженныхъ, столько

новыхъ учрежденныхъ, столько царей изгнанныхъ, столько возвратившихся или призванныхъ, и столько опять изгнанныхъ, столько революцій совершенныхъ, столько переворотовъ произведенныхъ, что всѣ сіи происшествія ознакомили умы съ революціями, съ возможностями и удобностями оныя производить. Къ тому же имѣетъ каждый вѣкъ свою отличительную черту. Нынѣшній ознаменовывается революціонными мыслями"... „Возвращеніе Бурбонскаго дома на французскій престолъ и соображенія мои впослѣдствіи о семъ происшествіи—показываетъ Пестель въ другомъ мѣстѣ—могу я назвать эпохою въ моихъ политическихъ мнѣніяхъ, понятіяхъ и образѣ мыслей: ибо началъ разсуждать, что большая часть коренныхъ постановленій, введенныхъ революціею, были при реставраціи монархіи сохранены и за благія вещи признаны, между тѣмъ какъ всѣ возставали противъ революціи и я самъ всегда противъ нея возставалъ. Отъ сего сужденія породилась мысль, что революція видно не такъ дурна, какъ говорятъ, и что можетъ даже быть весьма полезна, въ каковой мысли я укрѣплялся тѣмъ другимъ еще сужденіемъ, что тѣ государства, въ коихъ не было революціи, продолжали быть лишенными подобныхъ преимуществъ и учрежденій. Тогда начали... во мнѣ рождаться, почти совокупно, какъ конституціонныя, такъ и революціонныя мысли. Конституціонныя были совершенно монархическія, а революціонныя были очень слабы и темны. Мало-по-малу стали первыя опредѣлительнѣе и яснѣе, а вторыя сильнѣе"... И таковъ былъ въ общихъ чертахъ путь, совершенный всей русской интеллигенціей двадцатыхъ годовъ, таковъ былъ путь нарожденія тѣхъ тайныхъ обществъ двадцатыхъ годовъ, которыя привели русскую интеллигенцію къ попыткѣ вооруженнаго возстанія 14-го декабря 1825 г.

II.

Исторія возникновенія и развитія тайныхъ обществъ двадцатыхъ годовъ не входитъ въ нашу задачу; эту внѣшнюю сторону исторіи русской интеллигенціи мы затрогиваемъ только мимоходомъ. Какъ извѣстно, въ началѣ 1817 года образовалось первое изъ этихъ обществъ, „Общество истинныхъ и вѣрныхъ сыновъ отечества", болѣе извѣстное подъ именемъ „Союза Спасенія", наиболѣе видными изъ членовъ котораго были Никита Муравьевъ и Пестель, послѣдній составилъ и уставъ общества. Уставъ этотъ, къ сожалѣнію недошедшій до насъ, составленъ былъ, по словамъ самого Пестеля, „въ духѣ масонскихъ учрежденій, формъ и клятвъ"; мы уже отмѣтили, что эти масонскія формы сыграли извѣстную роль въ дѣлѣ быстраго разложенія только-что сложившагося общества. Старыя, отжившія формы помѣшали Обществу Сыновъ Отечества развить положенное въ его основу глубоко дѣйственное и жизненное содержаніе. „Первоначальное намѣреніе общества—сообщалъ Пестель на одномъ изъ первыхъ допросовъ—было освобожденіе крестьянъ", то-есть та соціальная реформа, о которой тщетно взывали всѣ представители русской интеллигенціи, начиная съ Новикова и Радищева. Однако эта мысль о необходимости коренной *соціальной* реформы составляла только одну сторону вопроса, занимавшаго русскую интеллигенцію двадцатыхъ годовъ; другой стороной вопроса была идея о необходимости коренной *политической* реформы; первая идея несомнѣнно предшествовала второй, преемственно перейдя къ людямъ двадцатыхъ годовъ отъ интеллигенціи XVIII-го вѣка. Цѣлью работы интеллигенціи двадцатыхъ годовъ несомнѣнно было уничтоженіе крѣпостного права;

когда стало ясно, что цѣль эта совершенно недостижима безъ предварительнаго уничтоженія политическаго рабства и безправія въ Россіи, то ближайшей цѣлью была поставлена политическая реформа; на послѣднюю было устремлено все вниманіе декабристовъ, начиная еще со времени Союза Спасенія. Это достаточно ясно хотя бы изъ слѣдующаго вопроса слѣдственной комиссіи Пестелю и отвѣта послѣдняго: „*Вопросъ.* Въ разсужденіи цѣли начальнаго общества (т.-е. Союза Спасенія) члены говорятъ различно: одни, что оная была введеніе Монархическаго Конституціоннаго Правленія, другіе—освобожденіе крестьянъ отъ крѣпости, нѣкоторые же—просто введеніе новаго порядка вещей. Поясните, въ чемъ именно заключалась настоящая цѣль перваго общества? *Отвѣтъ.* Настоящая цѣль перваго общества была введеніе Монархическаго Конституціоннаго Правленія; а одно освобожденіе крестьянъ отъ крѣпости было цѣлью при самомъ первомъ началѣ и весьма короткое время; но вмѣстѣ съ принятіемъ устава объ устройствѣ общества принята и цѣль Конституціи“... Итакъ, силою обстоятельствъ, еще въ Союзѣ Спасенія первоначальная и основная цѣль—соціальная реформа—была отодвинута на второй планъ, а на первый планъ выступила реформа политическая, сдѣлавшись изъ средства (чѣмъ она была первоначально)—цѣлью.

Союзъ Спасенія разложился не только вслѣдствіе своихъ архаическихъ формъ, но и по болѣе глубокимъ внутреннимъ причинамъ: русское общество въ тѣ года (1816—1817) еще не было достаточно оппозиціонно, чтобы Союзъ Спасенія могъ разсчитывать на сильный ростъ и на притокъ новыхъ членовъ: это было время, когда еще весьма многіе (впослѣдствіи дѣятельнѣйшіе революціонеры-декабристы) обольщали себя надеждою на реформы

свыше. Надо было открыть глаза этимъ многимъ, нужна была пропаганда, нужно было расширить кадры возможныхъ сочленовъ; такую пропагандистскую роль, быть можетъ помимо своей воли, сыгралъ прежде всего Союзъ Благоденствія, образовавшійся въ томъ же 1817 г. на развалинахъ Союза Спасенія. Конечно, само правительство скоро заставило „добрыхъ сердцемъ" перестать обольщаться надеждами; „событія—замѣчаетъ Н. Тургеневъ—говорили сами за себя, громче всякой человѣческой рѣчи; это была настоящая пропаганда"; но не дремали и декабристы: они прекрасно понимали необходимость настоящей пропаганды своихъ идей, и недаромъ Никита Муравьевъ уже въ 1823 г. говорилъ Поджіо: „nous commencerons absolument par la propagande". Тѣмъ болѣе нужна была пропаганда идей декабристовъ въ 1817 г., и Союзъ Благоденствія блестяще выполнилъ эту роль. Только съ такой точки зрѣнія понятно внезапное суженіе программы новаго Союза по сравненію со старымъ: вмѣсто стремленія къ политической реформѣ—„филантропическая" задача распространенія „просвѣщенія, благотворительности и нравственности" (изъ показаній декабриста Бурцова), вмѣсто соціальной реформы—„нравственное усовершенствованіе каждаго изъ членовъ" („Воспоминанія" декабриста кн. Оболенскаго). Кромѣ того, въ уставѣ новаго Союза выражалась даже „надежда на доброжелательство правительства" и совершенно обходился молчаніемъ вопросъ объ освобожденіи крестьянъ, чѣмъ былъ между прочимъ искренно „опечаленъ и пораженъ" Н. Тургеневъ, по его собственнымъ словамъ (см. его „La Russie et les Russes", I, 79—80 и 100); но, конечно, и то и другое сыграло громадную роль для расширенія и роста новаго Союза. Разумѣется, это выяснилось только впослѣдствіи, а въ моментъ своего

возникновенія Союзъ Благоденствія отнюдь не задавался цѣлью привлечь къ себѣ возможно большее число членовъ возможной узостью своей программы; онъ bona fide пытался быть связующимъ центромъ всѣхъ „добрыхъ сердцемъ“ либераловъ и волей-неволей сталъ притягивающимъ центромъ революціонеровъ. „Нравственное усовершенствованіе каждаго изъ членовъ“—что могло быть старѣе и шаблоннѣе этой тысяча первой варіаціи на знакомыя намъ слова: „любезные сограждане! перестанемъ быти злыми“; и однако эта старая варіація привлекла въ Союзъ Благоденствія десятки новыхъ членовъ. „Трудно было устоять противъ обаяній Союза, котораго цѣль была нравственное усовершенствованіе каждаго изъ членовъ“—отмѣчаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ кн. Оболенскій. Съ этого начиналось дѣло; многіе, подобно Оболенскому, Бурцову и др., вступали въ Союзъ Благоденствія только какъ въ своего рода масонскую ложу „перфектибилистовъ“ (улучшателей или совершенствователей), и, по мѣрѣ развитія Союза, оказывались въ центрѣ оппозиціоннаго движенія. Союзъ Благоденствія оказался своеобразной переходной ступенью отъ этики къ политикѣ, отъ идей перфектибилизма къ политическимъ идеаламъ. Какъ извѣстно, образцомъ для Союза Благоденствія послужилъ нѣмецкій Союзъ Добродѣтели, Tugendbund (уставы ихъ почти тождественны), но очень скоро Союзъ Благоденствія далеко отошелъ и отъ своего образца, и отъ своего устава (такъ называемой „Зеленой Книги“).

Чѣмъ дальше шло время, тѣмъ все сильнѣе и сильнѣе въ Союзѣ этика вытѣснялась политикой. Прежде всего этому способствовало само правительство, постепенно переходившее къ самой необузданной реакціонности; вслѣдствіе этого въ Союзъ вступали новые уже вполнѣ революціонно настроенные

члены. Образъ дѣйствія правительства былъ, какъ отмѣчалъ еще Н. Тургеневъ, лучшей пропагандой революціонныхъ идей; мало-по-малу всѣ возложившіе свои надежды на „доброжелательство правительства“ и самые „добрые сердцемъ“ либералы поняли, что политическую и соціальную реформу можно только добыть силой—и Союзъ Благоденствія изъ Тугендбунда дѣлается революціонной организаціей. Этотъ переходъ свершался постепенно въ теченіе 1818—1821 гг. Подъ вліяніемъ надвигающейся аракчеевщины и энергичныхъ рѣчей Пестеля, уже въ началѣ 1820 г. въ Союзѣ ставится вопросъ о республиканской формѣ правленія и служитъ поводомъ къ расколу среди его членовъ. Въ началѣ 1821 г. этотъ расколъ выливается въ формы распада Союза Благоденствія, или, вѣрнѣе, раздѣленія его. На съѣздѣ членовъ Союза рѣшено было самоупраздниться; это рѣшеніе особенно поддерживали члены въ родѣ Бурцова, недовольные развитіемъ въ Союзѣ политики за счетъ этики. Когда эти члены вышли изъ организаціи вслѣдъ за упраздненіемъ Союза, то немедленно, въ томъ же 1821 году, оставшіеся члены сорганизовались въ новое общество, уже всецѣло политическое и ярко революціонное: теперь тактикой былъ объявленъ „революціонный способъ дѣйствія“, а основнымъ пунктомъ программы—„республиканское правленіе“ (показанія Пестеля). Интересно отмѣтить, что по убѣжденію Пестеля „симъ не новая цѣль вводилась, но старая, прежде уже принятая, продолжалась“; это показываетъ, что по мѣрѣ роста Союза Благоденствія уставъ его („Зеленая Книга“) обращался въ мертвую букву и изъ мирно-добродѣтельнаго становился революціоннымъ. Этимъ, какъ мы отмѣтили, объясняется и выходъ части членовъ изъ Союза Благоденствія, который мало-по-малу пересталъ быть Тугендбундомъ, а становился тайнымъ обще-

ствомъ политическихъ заговорщиковъ, не даромъ одинъ изъ декабристовъ, В. Давыдовъ, иронически заявилъ слѣдственной комиссіи: „я членъ не Тугендбунда, а просто бунта“...

Такъ образовались на мѣстѣ мнимо-упраздненнаго Союза Благоденствія революціонныя общества— Южное, съ Пестелемъ во главѣ, и Сѣверное, руководимое Никитою Муравьевымъ. Оба эти общества были, выражаясь современной терминологіей, ярко бланкистскаго типа; это былъ кружокъ заговорщиковъ, увѣренный, что революцію двигаютъ отдѣльныя личности и что отъ степени искусства одного рулевого зависитъ все направленіе государственнаго корабля. Декабристы склонны были переоцѣнивать роль личности въ исторіи. „Найдись у насъ десять человѣкъ истинно благомыслящихъ и вмѣстѣ даровитыхъ, все приняло бы другой видъ“—писалъ одинъ изъ декабристовъ, М. Орловъ, въ 1819 году; Пестель уже передъ самымъ декабрьскимъ возстаніемъ заявлялъ еще болѣе рѣшительно: „la masse n'est rien, elle ne sera que ce que voudront les individus qui sont tout“ [1]). При такомъ взглядѣ на значеніе личности декабристы были въ правѣ вѣрить въ возможность коренного политическаго и соціальнаго переворота при наличности дѣйствительно не болѣе десятка „истинно благомыслящихъ и вмѣстѣ даровитыхъ“ людей. Они вѣрили въ свои силы и такъ или иначе готовились къ предстоящему перевороту; одни, какъ Пестель, подготовляя въ теченіе долгихъ лѣтъ Наказъ для временнаго правленія; другіе—не думая много о будущемъ, но желая измѣнить настоящее, увѣренные (по позднѣйшему выраженію Бестужева-Марлинскаго), что „творить—божественно, но и

---

[1]) «Масса—ничто, личность—все; первая будетъ лишь тѣмъ, чѣмъ пожелаютъ вторыя».

разрушать—тоже божественно; разрушеніе—тукъ для новой лучшей жизни“... Эта фраза, впослѣдствіи почти дословно повторенная Бакунинымъ и въ его устахъ ставшая знаменитой („Die Lust der Zerstörung ist eine schaffende Lust“), является если и не характерной для большинства декабристовъ, то во всякомъ случаѣ имѣвшей значеніе въ исторіи развитія идей тайныхъ обществъ, задачей которыхъ было разрушеніе стараго для постройки на его развалинахъ новаго соціально-политическаго строя. Южное и Сѣверное общества пытались не только поставить эту задачу, не только творчески выработать ея основанія, но и активно рѣшить ее и провести это рѣшеніе въ жизнь.

Творчество новыхъ формъ и идеаловъ и активное проведеніе ихъ въ жизнь въ направленіи къ общественному и личному освобожденію — всѣ эти основные признаки интеллигенціи мы находимъ и у декабристовъ; мы знаемъ также, что этически они были группой анти-мѣщанской, а соціологически—преемственной группой, тѣсно связанной идейно съ интеллигенціей XVIII-го вѣка. Но были ли декабристы группой *внѣклассовой* и *внѣсословной?* Мы вѣдь знаемъ, что именно таковы два основныхъ соціологическихъ признака интеллигенціи.

III.

Для того, чтобы правильно отвѣтить на этотъ вопросъ, надо прежде всего указать, что до сихъ поръ мы вполнѣ условно говорили о декабристахъ, какъ объ единомъ цѣломъ, какъ объ идейно сплоченной единой группѣ. Слишкомъ очевидно, что среди русскихъ интеллигентовъ-оппозиціонеровъ двадцатыхъ годовъ, условно называемыхъ „декабри-

стами“, число которыхъ (такъ или иначе прикосновенныхъ къ обществамъ) доходило, по предположенію Николая I-го, до шести тысячъ, были и не могли не быть самые различные идейные и нравственные типы, властвовали самыя различныя побужденія и цѣли. Обо всей этой толпѣ рядовыхъ декабристовъ—мы не говоримъ; были они или нѣтъ представителями интеллигенціи—этого вопроса мы не касаемся. Non multa, sed multum; мы уже заявляли, что наше опредѣленіе интеллигенціи, повышая качественно ея цѣнность, количественно значительно ее суживаетъ; поэтому можетъ быть окажется, что изъ всѣхъ декабристовъ въ группу русской интеллигенціи двадцатыхъ годовъ входило всего два-три десятка дѣйствительно внѣклассовыхъ и внѣсословныхъ борцовъ за идею.

Мы уже видѣли, что русская интеллигенція XVIII-го вѣка впервые сумѣла выйти изъ узкихъ сословно-классовыхъ рамокъ: будучи сословно-классовой по составу, она шла однако противъ своихъ дворянско-землевладѣльческихъ интересовъ и была глубоко внѣклассовой и внѣсословной по своимъ цѣлямъ и идеаламъ. Освобожденіе крестьянъ въ ту эпоху да и вообще во всякую было бы началомъ конца для дворянъ-землевладѣльцевъ; и неоспоримо права была Екатерина II въ своей злобно-ироничеcкой фразѣ по адресу Радищева и его „Путешествія“: „уговариваетъ помѣщиковъ освободить крестьянъ, да никто не послушаетъ“... Люди, которые шли на это, дѣйствовали и могли дѣйствовать только во имя внѣсословныхъ и внѣклассовыхъ идеаловъ.

То же самое надо повторить въ общемъ и о декабристахъ. Отдѣльныхъ изъ нихъ—и даже такихъ, какъ Каховскій и Бестужевъ-Марлинскій — могли побуждать сословные и личные интересы; но обобщать это на всѣхъ декабристовъ было бы ошибкою. Бесту-

жевъ откровенно заявляетъ въ своемъ уже цитированномъ нами письмѣ, что онъ склонялся „къ монархіи, аристократіею умѣренной“ и что при этомъ „не былъ чуждъ честолюбію“ („я считалъ себя, конечно, не хуже Орловыхъ временъ Екатерины“). Каховскій въ своемъ тоже цитированномъ нами письмѣ еще откровеннѣе вскрываетъ двигавшія имъ сословныя побужденія. Онъ заявляетъ, что дворянство оскорблено произволомъ губернаторовъ, что помѣщикамъ отяготительна дорожная повинность, что у дворянъ несправедливо отнято право куренія вина, что дворяне обижены тѣмъ предпочтеніемъ, которое правительство оказываетъ всѣмъ иностранцамъ и т. п.; „возстаніе 14-го декабря—заключаетъ онъ—есть слѣдствіе причинъ, мною изложенныхъ“... Куда же дѣвалась въ этомъ перечнѣ крѣпостная зависимость крестьянъ? и какое отношеніе имѣютъ обиды мелкопомѣстнаго дворянства (къ которому принадлежалъ Каховскій) къ заговору и возстанію, нашедшему благодарную почву среди родовой аристократіи и крупнаго землевладѣльчества? Причины, выставляемыя Каховскимъ, объясняютъ намъ, въ лучшемъ случаѣ, почему среди декабристовъ находились и мелкопомѣстные дворяне—онъ, Рылѣевъ, Якушкинъ и др., если предположить, что они примкнули къ революціонному движенію исключительно по сословно-классовымъ побужденіямъ; но онѣ не объясняютъ намъ возможности 14-го декабря.

Какой должна была бы быть идеологія декабристовъ, еслибъ движеніе это было сословнымъ и классовымъ?

Если бы декабризмъ былъ сословно-классовымъ теченіемъ, то характернѣйшимъ идеологомъ его являлся бы знаменитый рыцарь безъ страха и упрека—какъ его называлъ Пушкинъ—графъ Мордвиновъ. Ограниченіе самодержавной власти монарха сильной родо-

вой аристократіей и политическія реформы при сохраненіи основъ крѣпостного права—вотъ исходные пункты программы Мордвинова; но эта программа діаметрально противоположна декабризму въ его конечномъ проявленіи. Правда, мы увидимъ, что многіе декабристы примыкали къ нѣкоторымъ изъ указанныхъ выше положеній Мордвинова, а особенно къ его идеалу сильной родовой аристократіи, умѣряющей самодержавіе (этимъ идеаломъ прельстился впослѣдствіи даже Пушкинъ); но нельзя затушевать того факта, что въ центральномъ вопросѣ—вопросѣ соціальной реформы—декабристы совершенно расходились съ Мордвиновымъ и шли безусловно противъ своихъ же классовыхъ интересовъ. Радищевъ взывалъ къ помѣщикамъ объ освобожденіи крестьянъ,— „да никто не послушаетъ"! со злорадствомъ отвѣтила на это Екатерина II; теперь декабристы всецѣло отдались работѣ, направленной „къ новому устройству въ государствѣ... и къ освобожденію крѣпостныхъ людей, каковыя перемѣны могли не нравиться (слѣдовало бы сказать—не могли нравиться) дворянству"—и уже однимъ этимъ декабристы разрывали связь со всей массой землевладѣльческаго дворянства, которое и теперь, конечно, „не послушало бы" призыва декабристовъ. „Всѣ почти помѣщики—вспоминаетъ про ту эпоху Якушкинъ—смотрѣли на крестьянъ своихъ какъ на собственность, вполнѣ имъ принадлежащую, и на крѣпостное состояніе, какъ на священную старину, до которой нельзя было коснуться безъ потрясенія самой основы государства. По ихъ мнѣнію, Россія держалась однимъ только благороднымъ сословіемъ, а съ уничтоженіемъ крѣпостного состоянія уничтожалось и самое дворянство" („Записки", стр. 18).

И, конечно, эти крѣпостники-дворяне были въ послѣднемъ совершенно правы; освобожденіе крестьянъ

въ любую эпоху, въ 1790-мъ, въ 1825-мъ, или въ 1861-мъ году—безразлично, должно было явиться началомъ конца для дворянскаго сословія. Можно доказывать, что наиболѣе развитая часть помѣщиковъ-дворянъ—напримѣръ, декабристы—должна была видѣть всю „выгоду" для дворянъ уничтоженія крѣпостного права; но всю ошибочность этой мысли лучше всего показываетъ всероссійское помѣщичье разоренье послѣ 19 февр. 1861 г. и постепенное разложеніе дворянства, продолжавшееся до нашихъ дней. Однако этой мыслью декабристы дѣйствительно пользовались, какъ наиболѣе удобной для проведенія въ сословно-классовое сознаніе массы дворянства возмутительной для него идеи освобожденія крестьянъ. Когда въ 1817 г. крестьяне прибалтійскихъ губерній были освобождены (безъ земли) отъ крѣпостной зависимости, и когда стали носиться слухи, что эту же мѣру Александръ I думаетъ примѣнить и въ Россіи, то почти всѣ дворяне-помѣщики отнеслись враждебно къ такому предположенію; члены-же союза Благоденствія—вспоминаетъ кн. Трубецкой—прилагали всѣ усилія для „общаго убѣжденія въ необходимости этой мѣры. Должно было представить помѣщикамъ, что рано или поздно крестьяне будутъ свободны, что гораздо полезнѣе помѣщикамъ самимъ ихъ освободить, потому что тогда они (помѣщики) могутъ заключить съ ними выгодныя для себя условія"... („Записки", стр. 14). Такой способъ доказательства былъ, конечно, наиболѣе убѣдительнымъ для дворянъ-крѣпостниковъ; но возводить его въ образъ мысли, общій всѣмъ декабристамъ, было бы слишкомъ суздальскимъ пріемомъ письма.

Нельзя однако говорить о сословно-классовыхъ идеалахъ декабристовъ, не разобравъ предварительно все теченіе декабризма съ точки зрѣнія развитія русской общественной мысли. На предыдущихъ стра-

ницахъ мы касались этого только мимоходомъ, теперь попытаемся ознакомиться съ внутренней идеологической сущностью декабризма въ его главнѣйшихъ проявленіяхъ.

Нѣсколько выше мы отмѣтили, что нельзя говорить о декабризмѣ, какъ о единомъ цѣльномъ теченіи; необходимо разобраться въ тѣхъ направленіяхъ, изъ совокупности которыхъ и состоялъ декабризмъ. Мы склонны думать, что такихъ главныхъ направленій было три, различавшихся своимъ отношеніемъ къ соціальному и политическому элементу въ предполагавшейся революціи; направленія эти опредѣлялись характеромъ самой задачи, стоявшей передъ декабристами; предстояло, во-первыхъ, добиться проведенія коренной *политической* реформы; во-вторыхъ, предстояло добиться коренной реформы *соціальной*, и наконецъ, въ третьихъ, предстояла необходимость *синтеза* этихъ двухъ точекъ зрѣнія, необходимость подведенія соціальнаго фундамента подъ политическія реформы. Три имени—Никиты Муравьева, Н. Тургенева и Пестеля—лучше всего характеризуютъ эти три точки зрѣнія; изучивъ основныя воззрѣнія этихъ трехъ замѣчательнѣйшихъ представителей декабризма, мы тѣмъ самымъ вполнѣ ознакомимся съ основными теченіями русской общественной мысли двадцатыхъ годовъ.

IV.

Выше мы уже имѣли случай подчеркнуть, что послѣдовательность зарожденія „вольнодумства" среди интеллигенціи двадцатыхъ годовъ была такова: прежде всего воскресла (никогда, впрочемъ, не умиравшая) идея Новикова и Радищева о необходимости уничтоженія крѣпостного права, а затѣмъ мало-по-малу

стала проникать въ сознаніе та мысль, что этой соціальной реформы нельзя будетъ добиться безъ предварительнаго уничтоженія политическаго закрѣпощенія, т.-е. безъ реформы политическаго строя. Эта послѣдовательность мысли—типическая; мы увидимъ впослѣдствіи, что она буквально повторилась и во второй половинѣ XIX-го вѣка и что переходъ отъ Союза Спасенія къ Южному и Сѣверному обществамъ вполнѣ аналогиченъ въ этомъ отношеніи переходу отъ „Земли и Воли" къ „Народной Волѣ" въ концѣ семидесятыхъ годовъ: землевольцы ставили своей цѣлью только одно—соціальную реформу, народовольцы же поняли, что къ соціальному надо идти черезъ политическое и что иной путь невозможенъ. Это поняли въ свое время и декабристы. Сначала они стремились только къ одной соціальной реформѣ, къ освобожденію крестьянъ; въ 1816 году М. Орловъ представилъ Александру I-му покрытый многочисленными подписями адресъ объ уничтоженіи крѣпостного права (см. „Записки" кн. Волконскаго), а въ адресѣ, проектированномъ въ 1820 году, содержаніе уже совсѣмъ иное—въ немъ „излагались всѣ бѣдствія Россіи, для прекращенія которыхъ мы предлагали императору созвать Земскую Думу" („Записки" Якушкина, стр. 40). Мы видѣли также въ одномъ изъ показаній Пестеля, что первоначальной задачей Союза Спасенія было освобожденіе крестьянъ, но это было цѣлью Союза только „при самомъ первомъ началѣ и весьма короткое время"—въ 1816 г.; но уже „вмѣстѣ съ принятіемъ устава объ устройствѣ общества (что имѣло мѣсто въ началѣ 1817 г.) принята и цѣль Конституціи".

Такимъ образомъ очень скоро соціальная реформа уступила мѣсто реформѣ политической, ставшей вполнѣ самостоятельной, самодовлѣющей цѣлью. Этотъ *приматъ политическаго надъ соціальнымъ* роднитъ ин-

теллигенцію двадцатыхъ годовъ отчасти съ разночинной интеллигенціей шестидесятыхъ годовъ (послѣ 19 февр. 1861 г.), а прежде всего съ интеллигенціей послѣдней четверти XIX-го вѣка, начиная отъ народовольцевъ, и рѣзко отдѣляетъ ее, какъ это мы уже отмѣтили, отъ интеллигенціи семидесятыхъ годовъ, отъ стараго народничества, отъ бакунизма и землевольства. Но и среди декабристовъ приматъ этотъ не пользовался всеобщимъ признаніемъ: если, съ одной стороны, большая часть декабристовъ, во главѣ съ Н. Муравьевымъ, признавала его безусловно, то съ другой, его категорически отвергалъ такой видный декабристъ, какъ Н. Тургеневъ; наконецъ, Пестель принималъ этотъ приматъ вполнѣ условно, синтезируя въ своемъ міровоззрѣніи и соціальное и политическое.

Точка зрѣнія Никиты Муравьева намъ отчасти уже извѣстна: она во многомъ совпадала съ отмѣченными нами выше взглядами графа Мордвинова. Послѣдній утверждалъ, что „Россіи прежде всего необходима богатая и могущественная аристократія, что для созданія ея императору надо только раздѣлить между знатными фамиліями имперіи всѣ казенныя земли, что палата лордовъ или пэровъ, образовавшаяся изъ членовъ этихъ фамилій, была бы могущественнымъ элементомъ для устройства страны и для утвержденія конституціи“ (Н. Тургеневъ, „La Russie et les Russes“, I, 110; въ русск. пер. стр. 89—90). Заключавшееся въ этомъ планѣ „аристократическое ослѣпленіе“, такъ сильно возмущавшее Н. Тургенева, было присуще многимъ изъ дѣятелей двадцатыхъ годовъ. Не говоримъ уже о проектахъ графа Мамонова, предшественника декабристовъ и основателя общества Русскихъ Рыцарей, который требовалъ учрежденія наслѣдственнаго пэрства и дарованія этимъ двумстамъ пэрамъ или „вельможамъ государственнымъ“ не чего иного, какъ „удѣловъ,

городами и помѣстьями"!... Конечно, проекты „бѣшенаго Мамонова" (какъ его назвалъ Д. Давыдовъ) не заслуживаютъ серьезнаго вниманія; въ нихъ можно найти такіе удивительные пункты, какъ „переселеніе Гренландовъ въ Сибирь" (п. 29), „упраздненіе ненужныхъ университетовъ и учрежденіе вмѣсто того... лабораторій и звѣринцевъ" (п. 34), а „упраздненіе рабства" стоитъ въ нихъ рядомъ съ „учрежденіемъ флота въ Архипелагѣ" (чѣмъ Мамоновъ предвосхитилъ „дарданельскіе" планы русскихъ буржуазныхъ имперіалистовъ начала XX-го вѣка); но аристократически-либеральная тенденція этихъ „пунктовъ" является все же весьма характерной.

Идея, что родовая аристократія является уздою деспотизма, раздѣлялась весьма многими декабристами; такъ, напримѣръ, Бестужевъ-Марлинскій склонялся, какъ мы уже отмѣтили „къ монархіи, аристократіею умѣренной"; Якубовичъ, въ своемъ письмѣ къ Николаю (отъ 28 дек. 1825 г.) изъ Петропавловской крѣпости, въ весьма осторожныхъ выраженіяхъ повторяетъ эту же мысль Мордвинова: „аристократія въ единовластномъ, монархическомъ управленіи необходима, она служитъ равновѣсіемъ государству, предстательницей у трона за народъ и оппозиціей властямъ"... Батенковъ въ своей „Запискѣ" изъ крѣпости (отъ 29 марта 1826 г.) приходитъ къ этой же мысли: онъ считаетъ аристократію, „вельможество" главнымъ „предостереженіемъ для монарха"; пока это вельможество было сильно (напримѣръ, при императрицѣ Елизаветѣ)—Россія „процвѣтала"; Павелъ I почти „смѣшалъ всѣ сословія", а при Александрѣ „влились свободныя мысли также къ разрушенію различія состояній. Но Россія во все сіе время не только не благоденствовала, но истощалась. Изъ сего заключалъ я, что сильное вельможество намъ свойственно и необходимо"... Это любопытное умозаключеніе, по-

строенное на невѣрныхъ предположеніяхъ и по ошибочной схемѣ (post hoc, ergo propter hoc), отличается все тѣмъ же направленіемъ мысли въ сторону той или иной *политической* реформы; мы видимъ теперь также, что это выставленіе политической реформы на первый планъ сопровождалось у декабристовъ ярко выраженными аристократическими тенденціями.

Эти характерныя особенности ясно проявились и во взглядахъ Никиты Муравьева, насколько мы можемъ судить объ этомъ по двумъ редакціямъ его проекта конституціи; взгляды же Никиты Муравьева были повидимому господствовавшими въ Сѣверномъ Обществѣ. Муравьевъ не требуетъ ни созданія родового пэрства, ни раздѣленія между „вельможествомъ" земель и удѣловъ; его проектъ укрѣпляетъ положеніе аристократіи гораздо болѣе реальнымъ образомъ: установленіемъ чрезвычайно высокаго избирательнаго ценза, доходящаго до 30.000 р. недвижимаго или 60.000 руб. („3.000 фунт. серебра") движимаго имущества при избраніи въ члены Верховной Думы; таковъ же цензъ и для выборной должности тысяцкаго, стоящаго во главѣ уѣзднаго самоуправленія. Сами декабристы сознавали чрезмѣрность подобнаго ограниченія правъ и замѣчали, что въ такомъ случаѣ „почти всѣ общественныя владѣнія будутъ безъ тысяцкихъ". Во всякомъ случаѣ политическая реформа по проекту Н. Муравьева была основана отнюдь не на демократическихъ принципахъ, несмотря на весь его искренній „либерализмъ"; но, конечно, конституція Муравьева—это уже громадный шагъ впередъ отъ мнѣній Мордвинова даже въ чисто политической области, не говоря уже о томъ, что она шла совершенно противъ Мордвинова и его единомышленниковъ въ вопросѣ о соціальной реформѣ. Въ конституціи Муравьева мы находимъ категорическое заявленіе, что „крѣпостное состояніе и рабство отмѣняются"—

и одно это ставитъ уже рѣзкую раздѣлительную черту между декабристами и современными имъ „либералами-крѣпостниками“; политическій либерализмъ декабристовъ не былъ запачканъ рабовладѣльческими тенденціями. Мы увидимъ, впрочемъ, нѣсколько ниже, что зато экономическій либерализмъ былъ вполнѣ неизбѣжнымъ спутникомъ этой группы декабристовъ, къ которой принадлежатъ Бестужевъ-Марлинскій, Якубовичъ, Батенковъ, отчасти Каховскій (все члены Сѣвернаго Общества), идеологомъ которой можетъ считаться Никита Муравьевъ и которая характеризуется выставленіемъ на первый планъ политической реформы аристократическаго оттѣнка.

V.

Второе направленіе въ декабризмѣ характеризуется воззрѣніями Н. Тургенева, который одинъ стоитъ цѣлой группы и который стоитъ на точкѣ зрѣнія, совершенно противоположной предыдущей: онъ былъ ожесточеннымъ противникомъ одной политической реформы и такихъ хотя бы самыхъ либеральныхъ проектовъ, которые не улучшали положенія крестьянства; въ этомъ отношеніи онъ былъ отдаленнымъ предшественникомъ народничества семидесятыхъ годовъ и предвосхитилъ многія его этико-соціологическія построенія (быть можетъ, не столько построенія, сколько настроенія). *Приматъ соціальнаго надъ политическимъ* — таково основное положеніе Н. Тургенева, на которомъ онъ твердо и упорно стоялъ, несмотря ни на что, заявляя, что „слѣдуетъ начать съ водворенія гражданской свободы, прежде чѣмъ мечтать о свободѣ политической“... Въ этомъ ясно проявилось стремленіе „отъ абстрактнаго человѣка

къ реальной личности“, о которомъ у насъ была уже рѣчь: по мнѣнію Н. Тургенева съ политической свободой можно подождать, хотя и она необходима; но еще болѣе необходимо немедленное освобожденіе крестьянъ. Тутъ время не терпитъ, здѣсь нельзя „ограничиться палліативами и отложить попеченіе объ истинномъ прогрессѣ до слѣдующаго поколѣнія“, ибо „не легко рѣшиться жертвовать такимъ образомъ настоящимъ для будущаго: одному Богу извѣстно, будутъ ли существовать слѣдующія поколѣнія“... Эти замѣчательныя слова предвосхищаютъ мысль Герцена о настоящемъ какъ о цѣли прогресса и нашихъ личныхъ усилій, эти же слова выражаютъ мысль Н. Тургенева о приматѣ реальной личности надъ абстрактнымъ человѣкомъ.

Стоя на такой точкѣ зрѣнія, Тургеневъ склоненъ даже примириться съ абсолютизмомъ, который можетъ однимъ взмахомъ пера разрубить гордіевъ узелъ вопроса о крѣпостномъ правѣ; поэтому же онъ энергично протестуетъ противъ всякой попытки расширенія политическихъ правъ дворянства. Здѣсь онъ рѣзко расходится съ первымъ теченіемъ декабризма, съ тенденціями Никиты Муравьева и его единомышленниковъ, не говоря уже о графѣ Мордвиновѣ; здѣсь онъ ведетъ упорную борьбу противъ сословно-классовыхъ интересовъ дворянства; здѣсь онъ опять является предшественникомъ народничества начала семидесятыхъ годовъ, возстававшаго противъ всякаго расширенія политическихъ правъ общества во имя улучшенія положенія трудящихся массъ. Въ замѣчательной „Запискѣ“, поданной въ 1819 г. графу Милорадовичу и предназначавшейся въ сущности для Александра, Н. Тургеневъ обсуждаетъ вопросъ о расширеніи политическихъ правъ дворянства и, конечно, рѣшаетъ его отрицательно. „Чтобы разрѣшить по совѣсти этотъ вопросъ,—пишетъ онъ,—надо пом-

нить, что въ Россіи милліоны человѣческихъ существъ не пользуются даже гражданскими правами. Всякое расширеніе политическихъ правъ въ пользу дворянскаго сословія противорѣчило бы интересамъ крѣпостныхъ крестьянъ. Въ этомъ отношеніи самодержавная власть можетъ быть разсматриваема, какъ якорь спасенія въ нашей странѣ; отъ этой только власти мы можемъ ожидать уничтоженія рабства, столь же несправедливаго, какъ и безполезнаго. Непозволительно мечтать о политической свободѣ тамъ, гдѣ милліоны несчастныхъ не знаютъ даже простой человѣческой свободы"... Вотъ почему всѣ споры о конституціи, всѣ дебаты декабристовъ на политическія темы оставляли Н. Тургенева совершенно холоднымъ, точь-въ-точь какъ это было впослѣдствіи съ народниками начала семидесятыхъ годовъ, увлеченными идеею примата соціальнаго надъ политическимъ. „Что касается споровъ о политической свободѣ и о формахъ конституціи, — вспоминалъ впослѣдствіи Н. Тургеневъ, — то я былъ слишкомъ поглощенъ вопросомъ о крѣпостномъ правѣ, чтобы много ими заниматься. Если меня и можно упрекнуть въ чемъ-нибудь по этому поводу, то развѣ только въ равнодушіи къ подобнымъ спорамъ. У меня, конечно, были опредѣленные взгляды на главные вопросы политическаго строя...; я бы не отказался дѣйствовать и даже пожертвовать собою, чтобы добиться учрежденій могущихъ гарантировать эти великія блага (свободу печати, представительство и пр.), какъ только будутъ уничтожены всѣ виды рабства; но пока существуетъ крѣпостное право, всѣ мои помыслы были направлены исключительно на то, что я считалъ величайшимъ зломъ, требующимъ самаго быстраго леченія"... „Такимъ образомъ, — заключаетъ Тургеневъ, — это равнодушіе къ политическимъ вопросамъ было лишь относительное; иными словами, *всѣ эти вопросы были*

подчинены вопросу объ освобожденіи крѣпостныхъ" („La Russie et les Russes", I, 108—109; курсивъ нашъ).

Здѣсь впервые въ исторіи русской общественной мысли высказана съ такой блестящей ясностью мысль о приматѣ соціальнаго надъ политическимъ, характеризующая собою второе направленіе въ теченіи декабризма. Направленіе это можетъ быть опредѣлено, какъ выставленіе на первый планъ соціальной реформы вмѣстѣ съ условнымъ допущеніемъ сохраненія прежняго политическаго строя. Поскольку абсолютизмъ былъ сдерживающимъ моментомъ дворянски-землевладѣльческихъ вожделѣній и поскольку рабство могло пасть „по манію царя",—постольку примирялся съ самодержавіемъ Н. Тургеневъ, вполнѣ непримиримо относившійся къ мечтаніямъ объ одной политической свободѣ. „Когда я замѣчалъ въ своихъ собесѣдникахъ, — разсказываетъ Тургеневъ, — стремленіе къ политической свободѣ безъ желанія освободить крѣпостныхъ, мною овладѣвало негодованіе, можно было подумать, смотря на меня, что я защищаю абсолютизмъ"... (ibid). Ясно, что во всемъ этомъ мы имѣемъ діаметральную противоположность воззрѣніямъ группы Н. Муравьева: тамъ приматъ политическаго надъ соціальнымъ, здѣсь приматъ соціальнаго надъ политическимъ; тамъ аристократія считается сдерживающимъ моментомъ деспотизма, здѣсь абсолютизмъ является уздой дворянскихъ и аристократическихъ вожделѣній.

Въ одномъ пунктѣ однако Тургеневъ сходился съ этими представителями политическаго либерализма, и не только сходился, но былъ даже ихъ прямымъ учителемъ; это—въ области экономическихъ воззрѣній, въ исповѣданіи либерализма экономическаго. Н. Тургеневъ въ своей книгѣ „Опытъ теоріи налоговъ", вышедшей съ громаднымъ успѣхомъ двумя

изданіями въ 1818—1819 гг., талантливо проводилъ фритредерскіе взгляды; онъ старался доказать, что „всѣ экономическія и финансовыя теоріи, также какъ и правительственныя, правильны лишь постольку, поскольку онѣ основаны на идеѣ свободы". Поэтому свобода конкуренціи является положительнымъ факторомъ во внутреннихъ и внѣшнихъ государственныхъ отношеніяхъ: во внѣшнихъ отношеніяхъ желательны—отмѣна запретительныхъ пошлинъ и низкій либеральный тарифъ, а во внутреннихъ—уничтоженіе крѣпостного права, освобожденіе крестьянъ *безъ земли* или съ минимальнымъ земельнымъ надѣломъ и свобода крестьянскихъ переселеній, при сохраненіи всей земли за помѣщиками (см. „Записку", цитированную выше, а также „La Russie et les Russes", т. III). Въ этомъ исповѣданіи экономическаго либерализма, впослѣдствіи, въ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годахъ, ставшаго удѣломъ эпигоновъ западничества, Н. Тургеневъ радикально разошелся съ будущимъ народничествомъ, къ которому онъ былъ такъ близокъ во многихъ отношеніяхъ; и именно въ этомъ пунктѣ идеи Тургенева оказались безсильными передъ лицомъ жизни. Система „laissez faire, laissez aller" была примѣнена въ широкомъ масштабѣ въ области внѣшней россійской экономической политики введеніемъ либеральнаго таможеннаго тарифа 1819 года, который просуществовалъ съ трудомъ до 1823-го года; въ области же внутренней политики идея Тургенева, къ счастію, никогда не приводилась въ исполненіе въ широкомъ масштабѣ, если не считать безземельнаго освобожденія прибалтійскихъ крестьянъ (въ 1817 г.). Однако отдѣльныя попытки примѣненія этой идеи были и въ центральной Россіи. Несомнѣнно, что нѣкоторые изъ декабристовъ пытались примирить непримиримое и рѣшить острую проблему о крѣпостномъ правѣ такъ,

чтобы и волки были сыты и овцы цѣлы, чтобы и помѣщикъ остался съ землей и крестьянинъ оказался свободнымъ.

Чрезвычайно характерна въ этомъ отношенiи попытка освобожденiя крестьянъ, произведенная въ 1819 г. Якушкинымъ (и внушенная, какъ увидимъ ниже, Тургеневымъ), который въ это время еще „не очень понималъ, ни какъ это можно было устроить, ни того, что изъ этого выйдетъ", но зато былъ проникнутъ убѣжденiемъ, что „крѣпостное состоянiе— мерзость", а потому и желалъ освободить своихъ крестьянъ во что бы то ни стало. Онъ пришелъ къ слѣдующему рѣшенiю: освободить крестьянъ безвозмездно и предоставить въ ихъ полное владѣнiе все ихъ движимое имущество, весь ихъ живой и мертвый инвентарь, а также всѣ усадьбы и выгоны; землю же всю оставить за собой, предполагая половину сдавать въ аренду этимъ же освобожденнымъ крестьянамъ, а другую половину обработывать самому вольнонаемными рабочими. Къ величайшему его изумленiю крестьяне наотрѣзъ отказались отъ подобнаго предложенiя, заявивъ ему, что если у нихъ при свободѣ не будетъ земли, то—„ну такъ, батюшка, оставайся все по старому: мы ваши, а земля наша" („Записки", стр. 29—32). Мы еще встрѣтимся съ такой мотивировкой при изученiи развитiя идей Герцена; здѣсь же достаточно указать, что либерально-экономическiя идеи Н. Тургенева были заранѣе обречены на безплодiе и въ сферѣ внѣшней и въ сферѣ внутренней экономической политики.

Безусловный противникъ однобокаго политическаго либерализма, Тургеневъ былъ сторонникомъ настолько же односторонняго либерализма экономическаго; въ послѣднемъ отношенiи онъ шелъ, какъ мы это отмѣтили, рука объ руку съ представителями

перваго направленія въ декабризмѣ, направленія, соединявшаго въ себѣ либерализмъ и экономическій и политическій. Большинство декабристовъ твердо стояло на фритредерской точкѣ зрѣнія, ибо въ то время фритредерство и манчестерскія теоріи носились въ воздухѣ, были въ духѣ времени, такъ что очень немногіе были въ ту эпоху сторонниками протекціонизма, подобно гр. Мордвинову. На точкѣ зрѣнія фритредерства стоялъ и Бестужевъ-Марлинскій, находившій, что запретительная система обогащаетъ только контрабандистовъ, и Каховскій, возстававшій противъ государственныхъ монополій и заявлявшій, что „запретительная система, которая нигдѣ не можетъ быть полезна, тѣмъ болѣе вредна въ отечествѣ нашемъ“. Изъ декабристовъ, быть можетъ, только одинъ Штейнгель былъ всецѣло сторонникомъ протекціонизма и признавалъ либеральный тарифъ 1819 г. грубой ошибкой, слишкомъ поздно исправленной тарифомъ 1823-го года. Фритредерство было въ ту эпоху моднымъ теченіемъ, фритредерами были всѣ, даже имѣвшіе самыя минимальныя свѣдѣнія въ области финансовъ и экономики; тотъ же Каховскій, высказывавшій самыя категорическія сужденія въ этой области, былъ, напримѣръ, искренно убѣжденъ, что „винный налогъ..... не есть налогъ косвенный, онъ налогъ прямой, падающій на всѣхъ лицъ и всѣ состоянія“...

Конечно, Тургеневъ, обладавшій большими познаніями именно въ области экономическихъ вопросовъ, былъ въ этой области путеводителемъ большинства декабристовъ, точно также какъ и въ крестьянскомъ вопросѣ. Проектъ безземельнаго освобожденія крестьянъ, свободное переселеніе крестьянъ, отрицательное отношеніе къ общинѣ, столь свойственное экономическому либерализму—всѣ эти идеи такъ или иначе отразились въ конституціи Никиты Муравьева,

во всемъ остальномъ такъ противоположнаго Тургеневу. Въ первой редакціи этой конституціи проектируется освобожденіе крестьянъ безъ земли; только впослѣдствіи, во второй позднѣйшей редакціи, за крестьянами оставляется ихъ усадебная земля, живой и мертвый инвентарь, совершенно такъ же, какъ въ знакомомъ намъ проектѣ Якушкина; это наводитъ на мысль объ одномъ и томъ же источникѣ этихъ проектовъ, какимъ могъ быть только Н. Тургеневъ [1]). Эту же мысль подтверждаетъ и тотъ пунктъ конституціи, который говоритъ о переселеніяхъ крестьянъ, признавая однако необходимость вознагражденія помѣщика переселяющимися крестьянами; эту же мысль подтверждаетъ, наконецъ, и отношеніе конституціи Н. Муравьева къ общинѣ, которая признается только временнымъ зломъ, ибо законъ долженъ установить нормы раздѣла земли и перехода ея изъ общиннаго пользованія въ частную собственность.

Интересно, что первая редакція конституціи, найденная въ бумагахъ кн. Трубецкого, сопровождается цѣлымъ рядомъ отмѣтокъ и примѣчаній, занесенныхъ на поля проекта повидимому послѣ обсужденій его членами Общества; нѣтъ никакого сомнѣнія, что многія изъ этихъ замѣчаній сдѣланы Н. Тургеневымъ, который тогда, по словамъ Якушкина, стоялъ во главѣ Общества вмѣстѣ съ Никитою Муравьевымъ. Одно изъ этихъ примѣчаній относится какъ-разъ къ пункту объ общинномъ землевладѣніи; общинное землевладѣніе—гласитъ примѣчаніе—есть „вѣрный способъ для стоячаго положенія земледѣлія;

---

1) Самъ Тургеневъ категорически заявляетъ, что „одинъ изъ членовъ Союза Благоденствія“ сдѣлалъ попытку освобожденія крестьянъ по его, Тургенева, совѣтамъ. Что этотъ „одинъ изъ членовъ“ былъ именно Якушкинъ, ясно видно изъ сравненія воспоминаній по этому поводу Якушкина („Записки“, стр. 29—35) и Н. Тургенева („La Russie et les Russes“ I, 120—122).

при общей собственности оно никогда преуспѣвать не можетъ въ усовершенствованіи"... Здѣсь Н. Тургеневъ (если это, какъ можно быть почти увѣреннымъ, его примѣчаніе) высказываетъ основное возраженіе экономическаго либерализма противъ общины, возраженіе, бывшее главнымъ оружіемъ эпигоновъ западничества, фритредеровъ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ въ борьбѣ съ народничествомъ Герцена и Чернышевскаго. Такимъ образомъ въ міровоззрѣніи Н. Тургенева соединялись самые противоположные элементы; съ одной стороны онъ былъ предшественникомъ народничества, съ другой— россійскаго либерализма середины XIX-го вѣка; въ качествѣ послѣдняго онъ принадлежалъ къ группѣ либераловъ-декабристовъ и даже отчасти шелъ во главѣ ихъ вмѣстѣ съ Н. Муравьевымъ, а въ качествѣ перваго онъ діаметрально расходился съ ними и представлялъ самъ по себѣ въ высшей степени замѣчательное и оригинальное направленіе въ декабризмѣ.

Взаимодѣйствіе между этими двумя теченіями декабризма несомнѣнно. Правда, съ одной стороны стояло громадное большинство декабристовъ (Сѣвернаго Общества), а съ другой одинъ Н. Тургеневъ; но такой человѣкъ, какъ Тургеневъ, стоитъ по своему значенію цѣлой группы. Къ мнѣнію Тургенева декабристы всегда чутко прислушивались. Когда Пестель въ 1824 г. пріѣхалъ въ Петербургъ для переговоровъ съ Сѣвернымъ Обществомъ, то одинъ только Н. Тургеневъ возсталъ противъ плана соціальныхъ реформъ Пестеля, и это мнѣніе „очень подѣйствовало на всѣхъ членовъ Сѣверной Управы"—передаетъ въ своихъ показаніяхъ Матвѣй Муравьевъ-Апостолъ. Вообще среди декабристовъ Н. Тургеневъ всегда игралъ одну изъ самыхъ центральныхъ ролей, хотя самъ онъ и пытается оспорить это въ своихъ запи-

скахъ; роль эта была не боевая и не практическая, подобно роли, напримѣръ, Рылѣева, но роль теоретика-идеолога того теченія, въ которомъ мы уже отмѣтили два направленія. Съ одной стороны самъ Тургеневъ былъ выразителемъ цѣлаго направленія въ декабризмѣ, принимающаго приматъ соціальнаго надъ политическимъ; онъ былъ всегда для всѣхъ декабристовъ-конституціоналистовъ неуклоннымъ „memento" того факта, что и самый декабризмъ взялъ свое начало отъ идеи крестьянскаго освобожденія, что когда еще не было и рѣчи о политической реформѣ, уже давно существовала мысль о необходимости реформы соціальной. И благодаря Тургеневу это никогда не забывали совершенно декабристы-политики. Баронъ Розенъ вспоминаетъ, что „при всѣхъ сходкахъ и съѣздахъ членовъ тайнаго общества Николай Ивановичъ Тургеневъ такъ настойчиво требовалъ эмансипаціи, такъ обстоятельно излагалъ необходимость и различныя средства къ тому, что даже наскучилъ своими проектами"... Но зато даже самые односторонніе конституціоналисты твердо помнили, что „политическая наша свобода неразлучна съ освобожденiмъ крестьянъ", какъ впослѣдствіи говорилъ даже Пушкинъ, сторонникъ аристократическихъ воззрѣній графа Мордвинова.

И несмотря на все свое огромное вліяніе, Н. Тургеневъ былъ одинокъ: онъ былъ самъ одинъ цѣлой партіей, но онъ не имѣлъ учениковъ и послѣдователей. Приматъ соціальнаго надъ политическимъ, проповѣдывавшійся Тургеневымъ, его признаніе безнравственности одной политической реформы (впослѣдствіи перешедшее въ народничество семидесятыхъ годовъ),—все это было несовременно въ атмосферѣ второй половины двадцатыхъ годовъ, когда русская интеллигенція уже сознала—и на это мы уже обращали вниманіе выше—немыслимость добиться соціаль-

ной реформы внѣ зависимости отъ реформы политической. Здѣсь впервые въ исторіи русской общественной мысли имѣло мѣсто обстоятельство, неоднократно повторявшееся впослѣдствіи: односторонне соціальное направленіе побѣждалось теченіемъ, идущимъ къ соціальному черезъ политическое. Подобно тому какъ народовольцы въ концѣ семидесятыхъ годовъ побѣдили и землевольцевъ и чернопередѣльцевъ, стоящихъ исключительно на соціальной точкѣ зрѣнія и исключавшихъ путь политической борьбы, такъ и соціальная точка зрѣнія Н. Тургенева должна была уступить свое мѣсто воззрѣнію, также полагающему соціальное во главу угла, но принимающему политическій путь соціальнаго строительства. Такимъ воззрѣніемъ явилась точка зрѣнія Пестеля, синтезирующая взгляды и Н. Тургенева и Н. Муравьева и являющаяся высшимъ пунктомъ развитія исторіи русской общественной мысли двадцатыхъ годовъ.

VI.

Приматъ соціальнаго надъ политическимъ и самодержавіе какъ узда аристократіи; приматъ политическаго надъ соціальнымъ и аристократія какъ узда абсолютизма: обѣ эти столь различныя точки зрѣнія Тургенева и Муравьева одинаково далеки отъ Пестеля. Съ одной стороны Пестель ожесточенный врагъ аристократическихъ принциповъ, съ другой — онъ не менѣе ожесточенный противникъ и абсолютизма.

Уже со времени своей молодости онъ вполнѣ отрицательно относился къ „большимъ преимуществамъ аристократіи“, которую считалъ не сдерживающимъ моментомъ абсолютизма, а только „стѣною, между монархомъ и народомъ стоящею“. „Мнѣ казалось,— прибавляетъ Пестель,—что главное стремленіе ны-

нѣшняго вѣка состоитъ въ борьбѣ между массами народными и аристократіями всякаго рода, какъ на богатствѣ, такъ и на правахъ наслѣдственныхъ основанными"... Мысли эти получили дальнѣйшее развитіе въ знаменитой „Русской Правдѣ" Пестеля, которая будетъ служить намъ главнымъ источникомъ для изученія его взглядовъ. Онъ заявляетъ тамъ уже въ 1821 году), что „всякая аристократія, хоть на богатствахъ и имуществахъ, хоть на привилегіяхъ и нравахъ родовыхъ основанная, должна совершенно навсегда быть отвергнута"... Надо замѣтить при этомъ, что Пестель возставалъ противъ аристократическихъ тенденцій не столько графа Мордвинова, сколько Никиты Муравьева; онъ ясно видѣлъ, что родовая аристократія уже умираетъ и что ее не воскресятъ никакіе проекты графовъ Мамоновыхъ и Мордвиновыхъ, но зато онъ не менѣе ясно предвидѣлъ возможность зарожденія еще болѣе опасной для народа аристократіи денежной, крупной буржуазіи, изъ которой и будутъ вербоваться, по проекту Никиты Муравьева, разные тысяцкіе и члены Верховной Думы, съ минимальнымъ имущественнымъ цензомъ въ „3.000 фунтовъ чистаго серебра"... Съ такими буржуазно-аристократическими тенденціями Пестель не переставалъ воевать, и въ „Русской Правдѣ" есть цѣлый рядъ мѣстъ, явно направленныхъ противъ проектовъ Никиты Муравьева.]

„Отличительная черта нынѣшняго столѣтія — пишетъ Пестель — ознаменовывается явною борьбою между народами и феодальною аристокраціей, во время коей начинаетъ возникать аристократія богатствъ, гораздо вреднѣйшая аристократіи феодальной, ибо сія послѣдняя общимъ мнѣніемъ всегда потрясена быть можетъ и, слѣдовательно, нѣкоторымъ образомъ отъ общаго мнѣнія зависитъ, между тѣмъ какъ аристократія богатствъ, владѣя богатст-

вами, находитъ въ нихъ орудія для своихъ видовъ, противу коихъ общее мнѣніе совершенно безсильно, и посредствомъ коихъ она приводитъ весь народъ... въ совершенную отъ себя зависимость. А потому обязано всякое благомыслящее правительство... всѣ мѣры принимать, дабы таковыя сословія отдѣльнымъ отъ массы народной составленіемъ сами собою бы не устанавливались и не образовывались, а тѣмъ болѣе обязано ихъ уничтожить, ежели они гдѣ-либо существуютъ" („Русская Правда", гл. III, § 3, „Аристократія богатствъ"). Здѣсь мы видимъ, хотя и въ нѣсколько наивныхъ формахъ, начало той идейной борьбы съ буржуазіей, которое выпало на долю русскаго соціализма (народничества) отъ Герцена и до Михайловскаго; мы видимъ здѣсь также очевидную борьбу съ идеями Никиты Муравьева. Въ своихъ показаніяхъ передъ слѣдственной комиссіей Пестель заявилъ объ этомъ громогласно, неоднократно упоминая о томъ, что конституція Н. Муравьева ему, Пестелю (да и вообще „многимъ членамъ общества"), крайне не нравилась по причинѣ „ужасной аристократіи богатствъ, которая оною созидалась въ обширнѣйшемъ видѣ"; „сія ужасная аристократія богатствъ — повторяетъ онъ въ другомъ показаніи — заставляла многихъ, и въ томъ числѣ и меня, противу его конституціи сильно спорить"... Вмѣсто принципа какого бы то ни было аристократизма Пестель выдвигалъ впередъ цѣльную и глубоко продуманную систему послѣдовательнаго демократизма; онъ требовалъ (уже въ 1824 году) не только всеобщаго равенства всѣхъ передъ закономъ, нарушеніе чего есть уже „нестерпимое зловластіе", но и уничтоженія какого бы то ни было различія между сословіями („Русская Правда", гл. III, § 4). Мы увидимъ далѣе, что по этому пути уравненія сословій Пестель заходилъ такъ далеко, какъ не осмѣливался заходить

никто не только изъ его современниковъ, но и вообще изъ представителей русской интеллигенціи до появленія „кающихся дворянъ“ шестидесятыхъ-семидесятыхъ годовъ.

Итакъ, аристократическій принципъ былъ рѣшительно отвергнутъ Пестелемъ и замѣненъ принципомъ демократическимъ; съ другой стороны, имъ не менѣе рѣшительно былъ отвергнутъ принципъ абсолютизма, и замѣненъ принципомъ республиканскимъ. Пестель энергично ратовалъ противъ абсолютизма, считая его не только неспособнымъ обуздать аристократію, но напротивъ того — способнымъ еще болѣе усилить гнетъ надъ народными массами. Пестель не признавалъ дилеммы — что изъ двухъ: или аристократія, обуздываемая деспотизмомъ, или деспотизмъ, обуздываемый аристократіей? — для Пестеля „оба хуже“, и то и другое одинаково непріемлемо. Вотъ почему, возставая противъ аристократіи, Пестель въ то же самое время „укрѣпился весьма сильно въ республиканскомъ и революціонномъ образѣ мыслей... и ни въ чемъ не видѣлъ большаго благоденствія и высшаго блаженства для Россіи, какъ въ республиканскомъ правленіи“... Вотъ почему, прійдя къ такой точкѣ зрѣнія, Пестель радикально разошелся съ Н. Тургеневымъ и оказался союзникомъ Никиты Муравьева: добиться республиканскаго образа правленія можно было только путемъ активныхъ дѣйствій, путемъ политической революціи. При такомъ взглядѣ невозможно было оставаться на той точкѣ зрѣнія „перфектибилизма“, на которой стояли въ началѣ многіе члены Союза Благоденствія и отчасти даже Н. Тургеневъ. Среди декабристовъ были люди, считавшіе „за великое счастье, если бы въ теченіе своей жизни хотя на одну каплю успѣть улучшить нравственность въ своемъ маломъ кругу дѣйствія“ (показанія декабриста Бурцова), но Пестель былъ

не изъ ихъ числа; наоборотъ, „онъ утверждалъ, что для образованія нравовъ нужны вѣка, но надлежало исправить правленіе, отъ коего уже и нравы исправятся" (id.). Надлежало исправить правленіе—и Пестель не колеблясь сталъ во главѣ тайнаго общества для одновременнаго сверженія и аристократіи и монархіи, для совершенія коренного политическаго переворота, а немедленно вслѣдъ за нимъ и грандіозной соціальной реформы.

Къ соціальному черезъ политическое—таковъ былъ девизъ Пестеля, этотъ позднѣйшій девизъ соціализма. Пестель прекрасно понималъ, что одна соціальная реформа безъ политической, по проекту Н. Тургенева,—это только плѣнной мысли раздраженье; но онъ не менѣе ясно видѣлъ, что одна политическая реформа, по проекту Муравьева, безъ коренной реформы соціальной—ничего не дастъ народу и не будетъ революціей демократической. Герценъ передаетъ слышанный имъ отъ декабристовъ слѣдующій интересный фактъ: на одномъ изъ засѣданій Сѣвернаго Общества Пестель вполнѣ ясно высказалъ, что дѣло не въ республикѣ, какъ въ формѣ правленія, а въ ея соціальномъ фундаментѣ. „Вы провозгласите республику, — сказалъ онъ, — но это будетъ лишь перемѣна въ названіи. Главнымъ образомъ надо рѣшить вопросъ поземельной собственности; необходимо отдать землю крестьянамъ—только тогда цѣль революціи будетъ достигнута". Насколько это глубже проектовъ Тургенева—ясно съ перваго взгляда; мы убѣдимся въ этомъ еще болѣе, когда познакомимся поближе съ замѣчательными взглядами Пестеля на соціальную реформу.

VII.

Прежде чѣмъ приступить къ знакомству съ этими взглядами, мы хотимъ подчеркнуть, что насъ ин-

тересуютъ главнымъ образомъ законченныя и уже вполнѣ сформированныя мнѣнія Пестеля эпохи 1821—1825 гг., а не тѣ черновые наброски, которые принадлежатъ къ предыдущему періоду его жизни, когда онъ еще не выработалъ цѣльной и стройной соціально-политической системы. Характеристика воззрѣній Пестеля, по этимъ его черновикамъ и наброскамъ представляетъ большой интересъ для исторіи развитія взглядовъ Пестеля, а вмѣстѣ съ нимъ и третьяго теченія въ декабризмѣ; но мы не имѣемъ возможности входить здѣсь въ такія подробныя изслѣдованія и ограничиваемся только краткимъ указаніемъ на то, что изученіе черновиковъ „Русской Правды" и ранней записки Пестеля о государственномъ управленіи („Краткое умозрительное обозрѣніе Государственнаго Правленія», 1820 г.) показываетъ его неуклонную эволюцію отъ сословно-классовой точки зрѣнія къ яркому демократизму. Въ упомянутой запискѣ Пестель обращаетъ много вниманія на устройство министерства полиціи („приказа Благочинія"), весьма благосклонно относится къ шпіонству („тайнымъ розыскамъ") и къ цензурѣ, предполагаетъ устройство корпуса жандармовъ („внутренней стражи"), по тысячѣ человѣкъ на губернію, а „пятидесяти тысячъ жандармовъ будетъ для всего государства достаточно"; онъ предлагаетъ далѣе вполнѣ серьезно произвести такую коренную реформу, какъ переименованіе „маіоровъ во второстепенные подполковники, подполковниковъ въ первостепенные подполковники, генералъ-маіоровъ — во второстепенные воеводы, а генералъ-лейтенантовъ въ первостепенные воеводы"... Въ первоначальныхъ наброскахъ „Русской Правды" Пестель предлагаетъ предоставить самому дворянству выработку проектовъ объ улучшеніи положенія крестьянъ и только нерѣшительно высказываетъ, что разныя причины „заставляютъ желать, чтобы рабство

было совершенно въ Россіи уничтожено", причемъ все-таки все дѣло освобожденія слѣдуетъ отдать въ руки дворянскихъ собраній, и при этомъ во всякомъ случаѣ „освобожденіе крестьянъ отъ рабства не должно лишить дворянъ дохода, ими отъ помѣстій своихъ получаемаго"... Да и вообще дворяне „должны нѣкоторыми особыми преимуществами пользоваться въ видѣ награжденія за ихъ услуги и отъ нѣкоторыхъ тягостнѣйшихъ обязанностей быть освобождены"...

Совершенно не то мы увидимъ, если отъ этихъ черновыхъ набросковъ обратимся къ тѣмъ главамъ „Русской Правды", которыя были отдѣланы и набѣло переписаны Пестелемъ въ 1821—1824 гг. (главы I—III, не считая сожженной Пестелемъ шестой главы); въ нихъ уже отброшены всѣ сословно-классовыя тенденціи былыхъ временъ и ясно выражаются идеи самаго широкаго демократизма. Здѣсь уже не говорится о томъ, что отмѣна крѣпостного права является „желательной", а категорически заявляется, что „рабство должно быть рѣшительно уничтожено, и дворянство должно непремѣнно навѣки отречься отъ гнуснаго преимущества обладать другими людьми". Здѣсь Пестель уже не предлагаетъ передать проектъ объ освобожденіи дворянскимъ собраніямъ, но требуетъ освобожденія крестьянъ, хотя бы и вопреки желанію дворянства; а съ „злосовѣстными дворянами", которые бы вздумали „словомъ или дѣломъ сему дѣйствію противиться или оное осуждать", Пестель предлагаетъ поступить довольно строго: „всякаго таковаго злодѣя безъизъятно немедленно взять подъ стражу и подвергнуть его строжайшему наказанію, яко врага отечества и измѣнника противу первоначальнаго коренного права гражданскаго"... („Русская Правда", гл. III, § 6). Здѣсь уже нѣтъ и рѣчи о привилегіяхъ для дворянства, а напротивъ, особенно подчеркивается обязанность Верховнаго Правленія „при введеніи но-

вой государственной финансовой системы подвергнуть дворянство податямъ наравнѣ съ прочими россіянами"; но и независимо отъ податного обложенія дворянство должно быть совершенно сравнено въ своихъ правахъ со всѣми гражданами государства: „само званіе дворянства должно быть уничтожено; члены онаго поступаютъ въ общій составъ россійскаго гражданства". Здѣсь Пестель—это мы уже отмѣчали выше—заходитъ такъ далеко впередъ, какъ никто изъ его современниковъ, вплоть до „кающагося дворянства" шестидесятыхъ-семидесятыхъ годовъ. Впослѣдствіи кающіеся дворяне шли на все, чтобы уравнять свое привилегированное положеніе съ положеніемъ безправнаго крестьянства; если нельзя было увеличить права послѣдняго, то оставалось понизить права первыхъ: съ этой точки зрѣнія кающійся дворянинъ готовъ былъ вмѣстѣ съ крестьяниномъ подвергнуться и тѣлесному наказанію... „Пусть сѣкутъ! мужика сѣкутъ же!"—такъ формулировалъ Михайловскій крайнее проявленіе этого теченія въ кающемся дворянствѣ. Конечно, Пестель не подходилъ по типу настроенія къ кающемуся дворянству (скорѣе это приложимо къ Н. Тургеневу, который готовъ былъ поступиться своими политическими правами и даже помириться съ абсолютизмомъ ради успѣха дѣла освобожденія крестьянъ); но онъ не побоялся, съ обычной своей послѣдовательностью и смѣлостью мысли, сравнять дворянство со всѣми не только въ податной повинности, но даже въ подчиненіи самымъ унизительнымъ для „дворянской чести" наказаніямъ, если таковыя вообще будутъ сохранены въ уголовномъ кодексѣ: „ежели тѣлесныя наказанія будутъ признаны необходимыми, то должны онымъ быть подвергнуты дворяне такъ точно, какъ и всѣ прочіе люди" (Русская Правда", гл. III, § 6, п. 3). Однимъ словомъ—пусть сѣкутъ! мужика сѣкутъ же!.. Одно это мѣсто

достаточно показываетъ, много ли истины въ утвержденіяхъ, что идеалы декабристовъ были сословными; посмотримъ, насколько они были классовыми, а для этого вернемся нѣсколько назадъ и приступимъ къ знакомству съ соціальными воззрѣніями Пестеля.

Мы видѣли, что демократическая республика была для Пестеля совершенно пустымъ звукомъ безъ коренной соціальной реформы—передачи земель крестьянамъ. Исходя отсюда, Пестель развилъ грандіозный планъ частичной соціализаціи земли, при сохраненіи общиннаго начала; въ этомъ онъ опередилъ полусотнею лѣтъ всѣхъ своихъ современниковъ и всѣхъ декабристовъ, во главѣ съ Муравьевымъ и Тургеневымъ. Существуютъ два различныхъ взгляда на земельный вопросъ, говоритъ Пестель; согласно первому изъ нихъ, земля не можетъ быть ничьей собственностью: „земля есть общая собственность всего рода человѣческаго, а не частныхъ лицъ, и посему не можетъ она быть раздѣлена между нѣсколькими только людьми, за исключеніемъ прочихъ"; согласно второму изъ этихъ мнѣній, наоборотъ, трудъ, вложенный въ землю, является источникомъ собственности на нее, собственности тѣмъ болѣе необходимой, что пользованіе землей (напр., общинное) „не допуститъ земледѣлія къ усовершенствованію" (мы знаемъ, что именно таковымъ было мнѣніе Н. Тургенева): „а посему и должна вся земля быть собственностью нѣсколькихъ людей, хотя бы симъ правиломъ и было большинство людей отъ обладанія землей исключено"... По мнѣнію Пестеля, оба эти взгляда „заключенія свои до крайности доводятъ", хотя каждое изъ нихъ и содержитъ въ себѣ многоистиннаго и справедливаго: и общинное землепользованіе и частная собственность на землю должны существовать рядомъ другъ съ другомъ и служить другъ другу коррективами. Съ одной стороны, никто не можетъ

быть лишенъ права обладанія паемъ земли, а потому половина всѣхъ земель должна быть общественной собственностью, „всему волостному обществу совокупно принадлежать и неприкосновенную его собственность составлять“; земля эта „будетъ предназначена для доставленія *необходимаго* всѣмъ гражданамъ безъ изъятія и будетъ подлежать обладанію всѣхъ и каждаго“. Но, съ другой стороны, „право собственности... есть право священное и неприкосновенное“ [1]), и таковое право распространяется на вторую половину всѣхъ земель; земля эта, „будучи предназначена для образованія частной собственности, служить будетъ къ доставленію *изобилія*“. Такъ примиряются оба противоположные взгляда на земельный вопросъ: „земля общественная будетъ удовлетворять справедливымъ заключеніямъ перваго общественнаго мнѣнія, а земли частныя—второго мнѣнія“ („Русская Правда“, гл. III, § 11 и гл. IV, §§ 9—12).

Мы не имѣемъ возможности останавливаться на частностяхъ этого замѣчательнаго проекта—на дѣленіи *всѣхъ* гражданъ по волостямъ, т.-е. на принудительномъ вселеніи въ общину, на способахъ при-

---

[1]) Это затасканное и запачканное теперь восхваленіе „священнаго права собственности“ сдѣлано Пестелемъ вовсе не съ точки зрѣнія защиты своихъ классовыхъ интересовъ: онъ повторяетъ здѣсь только знакомыя намъ положенія Пнина, для котораго принципъ собственности былъ аргументомъ освобожденія крестьянъ съ землей и противопоставленія этого „священнаго“ принципа неограниченнымъ правамъ абсолютизма. „Имѣть собственность“— значило и для Пнина и для декабристовъ „имѣть права“ (см. объ этомъ въ первомъ письмѣ изъ крѣпости Каховскаго) и самъ Пестель подчеркиваетъ эту мысль, заявляя, что собственность должна быть неприкосновенна: „дабы каждый гражданинъ въ полной мѣрѣ увѣренъ былъ въ томъ, что никакое самовластіе не можетъ лишить его ниже малѣйшей части его права“... („Русская Правда“, гл. V, § 7). Это не мѣшаетъ Пестелю сейчасъ же признать необходимость принудительнаго отчужденія частной собственности, если „неминуемо того требуетъ благо общее“... Какъ все это современно и въ началѣ XX-го вѣка!..

нудительнаго отчужденія частныхъ земель, на срокѣ осуществленія всей реформы, на способѣ дѣленія общинной земли на паи для житья одного тягла на каждомъ, на срокѣ землепользованія, на свободномъ выходѣ изъ общины, на учрежденіи мелкаго кредита („волостного банка") и т. д., и т. д.; для подробнаго ознакомленія съ этимъ детально разработаннымъ планомъ отсылаемъ читателя къ самой „Русской Правдѣ" и ограничиваемся только вторичнымъ подчеркиваніемъ основного смысла проекта Пестеля: смыслъ этотъ заключается въ признаніи того положенія, что въ земельномъ вопросѣ частновладѣльческій и общинный принципы могутъ служить коррективами другъ другу. Это положеніе особенно интересно для насъ потому, что его почти дословно повторилъ впослѣдствіи Чернышевскій, который, какъ мы увидимъ, подобно Пестелю, защищалъ „государственную собственность съ общиннымъ владѣніемъ" и думалъ (раздѣляя въ этомъ мнѣніе Кавелина), что распространеніе въ то же время между крестьянами частной поземельной собственности является утѣшительнымъ для равновѣсія нашего сельскаго уклада, равно какъ и общинный принципъ является лучшимъ средствомъ для избѣжанія „язвы пролетаріата". Исторія русскаго экономическаго развитія послѣдней четверти XIX-го вѣка наглядно вскрыла явную ошибку предположенія о взаимномъ уравновѣшивающемъ вліяніи принциповъ общиннаго и частновладѣльческаго; но это не дѣлаетъ проектъ Пестеля менѣе замѣчательнымъ и оставляетъ его попрежнему шагнувшимъ на полъ-вѣка впередъ отъ окружавшей Пестеля современности. Въ проектѣ Пестеля мы имѣемъ первые зачатки соціализма, который со второй половины XIX-го столѣтія сталъ господствующимъ міровоззрѣніемъ среди русской интеллигенціи.

VIII.

Среди декабристовъ у Пестеля было много сторонниковъ, подъ его вліяніемъ были почти всѣ члены Южнаго Общества, но зато почти всѣ сѣверяне относились къ планамъ Пестеля отрицательно; основанія его соціальной реформы и даже его демократически-республиканской революціи были для большинства изъ нихъ совершенно непріемлемы. Достаточно прочесть въ показаніяхъ и воспоминаніяхъ декабристовъ тѣ мѣста, которыя относятся къ пребыванію Пестеля въ мартѣ и апрѣлѣ 1824 года въ Петербургѣ, чтобы убѣдиться въ томъ, что между Южнымъ и Сѣвернымъ Обществомъ не могло быть идейнаго слiянія или даже соглашенія, а могъ быть только временный союзъ изъ-за тактическихъ соображеній. Едва-ли близки къ истинѣ показанія нѣкоторыхъ декабристовъ (Рылѣева, Поджіо и др.), что сѣверяне отвергли „Русскую Правду" только изъ-за побужденій личнаго свойства—опасеній стремленія Пестеля къ диктаторству и т. п.; причины расхожденія лежатъ глубже: тутъ дѣло не въ Пестелѣ съ одной стороны и Н. Муравьевѣ или Н. Тургеневѣ съ другой, а въ республиканско-демократической программѣ перваго и монархически-аристократической программѣ второго, въ соціалистическихъ воззрѣніяхъ перваго и экономическомъ либерализмѣ третьяго. Никита Муравьевъ не могъ принимать не только соціальной программы Пестеля, но и его политическихъ идеаловъ; Н. Тургеневъ не могъ принимать не только политическихъ воззрѣній Пестеля, но и его соціальной программы; оба они вели противъ Пестеля упорную борьбу. По показаніямъ Матвѣя Муравьева-Апостола „Н. Тургеневъ не согласился на принятіе плана конституціи Пестеля; онъ никакъ не хотѣлъ допустить раздѣленія земли, говоря,

что, не мѣшая промышленности, земли непримѣтнымъ образомъ сами собою раздѣлятся. Мнѣніе Н. Тургенева очень подѣйствовало на всѣхъ членовъ Сѣверной Управы"... Самъ Тургеневъ въ своихъ воспоминаніяхъ говоритъ, что главное вниманіе Пестеля было поглощено „соціальными теоріями, выработанными имъ и нѣкоторыми изъ его друзей [1]... Онъ надѣялся найти во мнѣ новаго сторонника, но это ему не удалось"... Онъ сравниваетъ далѣе теоріи Пестеля съ „геніальными утопіями" Фурье и Оуена, соглашается, что теоріи эти могутъ возбудить восхищеніе и могутъ быть даже полезны; но при всемъ этомъ онъ относится къ построеніямъ Пестеля крайне отрицательно. „Я старался по возможности разбить ихъ аргументы,—разсказываетъ Н. Тургеневъ,—но это было не легко; опровергнуть иныя теоріи трудно; нѣкоторыя настолько нелѣпы, что не знаешь, съ какого конца къ нимъ подойти" („La Rssuie et les Russes", I, 175—179)... Въ высшей степени характерное признаніе безпомощности того либерализма, представителемъ котораго былъ Н. Тургеневъ, передъ начатками соціализма Пестеля! И сколько разъ впослѣдствіи повторялась та же самая исторія! Достаточно вспомнить хотя бы то избіеніе виѳлеемскихъ младенцевъ, какимъ въ сущности была борьба соціалиста Чернышевскаго съ разными Вернадскими и Бабстами, профессорами политической экономіи и savantiissmis doctoribus экономическаго либерализма... Въ области экономическихъ вопросовъ Н. Тургеневъ былъ несомнѣнно „savantissimus doctor" по сравненію съ Пестелемъ; и однако соціально-экономическія теоріи перваго не могутъ быть даже и сравниваемы по широтѣ и глубинѣ захвата съ теоріями второго.

---

[1]) Онъ вѣроятно имѣетъ въ виду вліяніе племянника-Новикова на Пестеля въ вопросѣ о республиканской формѣ правленія.

И если Н. Тургеневъ оказался родоначальникомъ русскаго экономическаго либерализма, то *Пестель является первымъ представителемъ зарождающейся соціалистической русской мысли.*

Конечно, наивно было бы предполагать, что мы имѣемъ у Пестеля ясно сознанную соціалистическую идею; мы находимъ у него только намеки на нее. Въ области чисто экономической находимъ и рядъ несамостоятельныхъ построеній. Пестель находился подъ несомнѣннымъ вліяніемъ школы физіократовъ, но въ то же самое время онъ усердно изучалъ и Ж.-Б. Сэя, отъ котораго заимствовалъ и основныя положенія экономическаго либерализма; соединеніе физіократизма съ фритредерствомъ — такъ могутъ быть охарактеризованы экономическія воззрѣнія Пестеля. Онъ заявляетъ, что народное благосостояніе должно быть цѣлью правительства, но что „пріобрѣтеніе его должно быть предоставлено каждому члену гражданскаго общества особенно“, а ролью правительства является только „дарованіе защиты“ и „удаленіе тѣхъ препятствій, которыя бы могли превышать силы и способы частныхъ людей“ („Русская Правда“, гл. I, § 9). Въ другомъ мѣстѣ онъ повторяетъ эту же мысль, относя ее болѣе правильно не къ народному благосостоянію, а къ національному богатству (Id., гл. III, § 7): мы видѣли, что уже Радищевъ раздѣлялъ эти понятія, и такое раздѣленіе легло впослѣдствіи въ основу экономическихъ воззрѣній Чернышевскаго и всего народничества.

Какъ бы то ни было, но Пестель принималъ принципъ экономической свободы, хотя и не доходилъ до теоріи невмѣшательства правительства, до принципа laissez faire, laissez aller, признавая необходимость этого вмѣшательства хотя бы для „дарованія защиты“ частнымъ людямъ. Однако Пестеля главнымъ образомъ занимаетъ не національное богатство,

а народное благосостояніе; не фабрика, а земля; не городъ, а деревня; и въ этомъ онъ всецѣло стоитъ на точкѣ зрѣнія физіократовъ. Къ городу Пестель относится совершенно отрицательно; въ своемъ проектѣ дѣленія государства на волости (своего рода „мелкая земская единица") онъ заботится, чтобы онѣ не были слишкомъ многолюдны, ибо „большія волости, будучи волости цѣльныя, указываютъ на большіе города, а большіе города чрезвычайно вредны, особенно для нравственности, которая признана быть должна первымъ богатствомъ каждаго народа"... Конечно, въ странѣ будутъ и большіе города („ибо не всякій житель есть членъ волости"), но все-таки такое отношеніе къ большимъ культурнымъ и промышленнымъ центрамъ для Пестеля крайне характерно: для него центръ тяжести лежитъ не въ городѣ, а въ деревнѣ („Русская Правда", гл. I, § 5). Въ другомъ мѣстѣ, говоря о сословіи мѣщанъ, Пестель замѣчаетъ, что мѣщанъ много, а земель (городскихъ) мало; „сіе происходитъ—говоритъ онъ—отъ того, что всѣ мѣщане состоятъ приписанными къ городамъ. Сверхъ того рождается отъ сего и распространяется между людьми мысль, что земледѣліе есть послѣдній изъ всѣхъ промысловъ и что всѣ прочіе почетнѣе его, между тѣмъ какъ земледѣліе, будучи самое необходимѣйшее, должно бы гораздо болѣе быть въ уваженіи и почтеніи, особенно въ Россіи, коей главнѣйшее богатство именно въ земледѣліи состоитъ" (Id., гл. III, § 8). Это является повтореніемъ положеній физіократизма, особенно процвѣтавшаго въ Россіи въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ XVIII-го вѣка подъ покровительствомъ Екатерины II; но въ то время какъ физіократы той эпохи приходили къ заключенію о необходимости исключительно частной земельной собствен-

ности, Пестель смѣло подошелъ къ идеѣ своего рода аграрнаго соціализма.

Если мы зададимся вопросомъ, каковы этико-соціологическія основанія соціально-экономическихъ воззрѣній Пестеля, то увидимъ, что онъ исходилъ изъ тѣхъ же положеній, какъ и Н. Тургеневъ, и Н. Муравьевъ, и вообще большинство декабристовъ. Стремленіе „отъ абстрактнаго человѣка къ реальной личности", отмѣченное нами выше, было присуще и Пестелю; но и онъ, и вообще декабристы были далеки отъ знакомой намъ ошибки сентиментализма, который въ своемъ стремленіи къ реальной личности порвалъ всякія связи съ абстрактнымъ человѣкомъ. Декабристы были далеки отъ соціологическаго номинализма; они оперировали съ понятіемъ не суммы индивидовъ, а „гражданскаго общества", понимая подъ обществомъ группу людей, соединившуюся *для достиженія* — подчеркиваетъ Пестель — какой-либо цѣли („Русская Правда", Введеніе, § 1); свои политическіе идеалы они обосновывали на утилитаризмѣ Бентама, послѣдователемъ котораго былъ еще Пнинъ, принимавшій за цѣль общественной жизни „величайшее блаженство величайшаго числа людей".

На этой же точкѣ зрѣнія стоялъ, подобно большинству декабристовъ, и Пестель, и поскольку онъ стоялъ на ней, постольку онъ шелъ противъ личности. Онъ повторяетъ слова Пнина и развиваетъ идеи Бентама, заявляя, что „истинная цѣль государственнаго устройства должна непремѣнно быть—возможно бóльшее благоденствіе многочисленнѣйшаго числа людей въ государствѣ", что поэтому „благоденствіе общественное должно считаться важнѣе благоденствія частнаго" („Русская Правда", Введеніе, § 6); тутъ же онъ подчеркиваетъ, что цѣль эта недостижима при пожертвованіи большинствомъ меньшинству—мысль эту мы видѣли еще у Фонвизина—

и что идеаломъ является „благоденствіе всего общества вообще и каждаго изъ членовъ онаго въ особенности“, „возможно бо̀льшее благоденствіе всѣхъ и каждаго“ (Id., Введеніе, § 3 и гл. III, § 4). Изъ всего этого видно, что хотя Пестель и не былъ крайнимъ представителемъ утилитаризма, но все-таки и утилитаризмъ и раціонализмъ являлись характерными для Пестеля, какъ и для большинства декабристовъ—и въ этомъ ихъ тѣсная связь съ раціоналистическими поколѣніями и шестидесятыхъ годовъ XVIII-го и шестидесятыхъ годовъ XIX-го вѣка. Пестель, подобно энциклопедистамъ XVIII-го столѣтія, непоколебимо убѣжденъ, что „народы вездѣ бываютъ таковыми, каковыми ихъ содѣлываютъ правленіе и законы, подъ коими они живутъ“ („Русская Правда“, гл. II, § 16; ср. ibid., § 2); онъ раціоналистъ до мозга костей, что сказывается даже въ чисто формальныхъ его построеніяхъ, чисто внѣшнихъ формахъ (см., напр., „Русск. Правду“, гл. I, §§ 6—17). Въ религіи онъ деистъ, какъ и почти всѣ декабристы—это подтверждаетъ между прочимъ въ своихъ показаніяхъ Н. Бобрищевъ-Пушкинъ; когда же онъ становится вѣрующимъ христіаниномъ, то, разумѣется, впадаетъ въ піетизмъ, такъ характерный для вѣрующихъ изъ декабристовъ (напр., для барона Розена). Пестель былъ убѣжденъ, что религіозная вѣра вполнѣ зависитъ отъ чисто разсудочныхъ построеній; крайне любопытна съ этой точки зрѣнія его мысль, сохраненная въ показаніяхъ Поджіо—немедленно по завершеніи политической и соціальной революціи въ Россіи „удалиться въ Кіево-Печерскую лавру и сдѣлаться схимникомъ“...—„Это что̀ за мысль?“—спросилъ удивленный Поджіо—„Тогда я возьмусь за вѣру“, отвѣтилъ Пестель. За вѣру, по его мнѣнію, можно „взяться“, какъ за рѣшеніе математической задачи... Когда-то, въ раз-

говорѣ съ Пушкинымъ, Пестель сказалъ про себя: „mon coeur est matérialiste, mais ma raison s'y réfuse“ [1]); какъ великолѣпно это характеризуетъ раціоналистическую сущность характера Пестеля! Мы склонны были бы ожидать болѣе обыкновеннаго, обратнаго построенія фразы („ma raison est matérialiste, mais mon coeur s'y rèfuse“), такъ какъ именно со стороны разсудка мы имѣемъ обыкновенно тѣ раціоналистическіе доводы, противъ которыхъ можетъ протествовать „сердце“, внутреннія чувствованія и романтическія стремленія человѣка; но Пестель не ошибся въ своей характеристикѣ: у него дѣйствительно „сердце“ было раціоналистическимъ, а „умъ“ былъ съ сердцемъ въ полномъ ладу, съ рѣдкими вспышками протеста. Когда Пестель по совершенно другому поводу и при другихъ обстоятельствахъ сказалъ про себя: „сердце мое, поистинѣ, нисколько не участвовало въ томъ, что̀ творила голова“ (письмо къ родителямъ изъ крѣпости, отъ 1 мая 1826 г.), то, конечно, не опровергъ этимъ первой своей характеристики, блестяще сдѣланной имъ Пушкину.

Раціоналистъ до глубины души—таковъ Пестель, таково и большинство декабристовъ. На раціоналистической основѣ строили они и исходный пунктъ своей теоріи политическаго либерализма—естественное право, всецѣло слѣдуя въ этомъ за раціоналистами XVIII-го вѣка и толкуя принципъ естественнаго права главнымъ образомъ съ точки зрѣнія общественной. „...Справедливость въ законахъ требуетъ,—пишетъ Пестель,—чтобы они были одинаковы для всѣхъ членовъ гражданскаго общества и на всѣхъ сихъ членовъ бы взирали равнымъ образомъ; ибо всѣ люди, получивъ отъ природы равныя права и

---

[1]) „Сердце мое склоняется къ матеріализму, но мой разумъ этому противится“.

находясь въ гражданскомъ обществѣ для одной и той же цѣли, не должны такимъ образомъ быть различны, чтобы одни пользовались выгодами и преимуществами, на коихъ другіе и надежды бы даже не имѣли". Такимъ образомъ идея естественнаго права служитъ Пестелю для обоснованія демократическаго принципа; этическое значеніе этой идеи Пестель оставляетъ совершенно въ сторонѣ, и вслѣдъ за нимъ идутъ всѣ декабристы; но зато она является могучимъ рычагомъ освободительныхъ стремленій русской интеллигенціи, ея борьбы за раскрѣпощеніе человѣка.

Идея естественнаго права, имѣвшая такое громадное значеніе въ міровоззрѣніи русской интеллигенціи второй половины XVIII-го вѣка, а впослѣдствіи смягченная и переработанная ad usum delphini сентименталистами, снова возрождается въ прежней чистотѣ у декабристовъ и служитъ обоснованіемъ ихъ идеологіи. „Всѣ ли люди свободны?—спрашиваетъ Н. Муравьевъ въ своемъ знаменитомъ Катехизисѣ, и отвѣчаетъ:—„нѣтъ, малое число людей поработило большее... Однимъ пришла несправедливая мысль господствовать, а другимъ—подлая мысль отказаться отъ природныхъ правъ человѣческихъ, дарованныхъ самимъ Богомъ"... Выводъ былъ очевиденъ: права эти надо снова добыть, свободу надо завоевать; и идея естественнаго права приводила такимъ образомъ къ центральной мысли о необходимости политическаго, а вслѣдъ за нимъ и соціальнаго переворота. Декабристы доводили идею естественнаго права до ея логическаго конца. Но въ то же время они давали естественному праву исключительно общественное истолкованіе, на что мы уже указывали, говоря о Радищевѣ. Въ концѣ XIX вѣка трансцендентально-нормативное толкованіе естественнаго права явилось глубоко индивидуалистическимъ; раціоналистическое

пониманіе его декабристами было показателемъ присутствія элементовъ анти-индивидуализма въ ихъ міровоззрѣніи. Раціонализмъ этотъ въ свою очередь является показателемъ того, отмѣтимъ это кстати, что декабристы не были причастны романтизму, хотя и стремились въ сферѣ литературы быть „романтиками". Идеологіей декабристовъ былъ, конечно, романтизмъ,—не тотъ романтизмъ, который увлекаетъ „за предѣлы предѣльнаго", а тотъ псевдоромантизмъ, который былъ характеренъ для русской литературы той эпохи. Въ области литературы они поэтому вполнѣ естественно тяготѣли къ байронизму, и Пушкинъ въ эпоху „Кавказскаго Плѣнника" и „Цыганъ" хотѣлъ быть ихъ „идеологомъ"; бурный псевдо-романтизмъ многихъ декабристовъ (Рылѣевъ, Бестужевъ, Кюхельбекеръ и др.) подчеркивалъ въ то же время ихъ связь съ широкимъ общественнымъ теченіемъ, увлекшимъ тогда всю русскую интеллигенцію, объединенную могучимъ освободительнымъ порывомъ, идеаломъ полнаго и окончательнаго раскрѣпощенія человѣка.

IX.

Подведемъ теперь общіе итоги нашему знакомству съ міровоззрѣніемъ декабристовъ.

Прежде всего мы можемъ вполнѣ обоснованно заявить: да, декабристы были представителями русской интеллигенціи, внѣклассовой и внѣсословной по своимъ идеаламъ группой; пусть это относится не ко всѣмъ декабристамъ, а только къ части ихъ, но зато эта часть стояла дѣйствительно на такой идейной высотѣ, что тчееніе декабризма будетъ всегда исторической реликвіей русской интеллигенціи. Достаточно намъ вспомнить горячіе протесты Н. Тургенева про-

тивъ расширенія какихъ бы то ни было дворянскихъ правъ, достаточно вспомнить яркій и смѣлый демократизмъ Пестеля, чтобы видѣть, какъ русская интеллигенція двадцатыхъ годовъ сама подняла оружіе противъ своихъ же классовыхъ интересовъ. Графъ Растопчинъ, этотъ типичный образецъ воплощенной сословности и классовости (если возможно такое словообразованіе), иронически замѣтилъ послѣ 14-го декабря 1825 г., что во Франціи „чернь" произвела революцію, чтобы стать аристократіей—въ этомъ былъ смыслъ; въ Россіи же аристократія сама произвела революцію въ пользу черни—это уже прямая безсмыслица. Графъ Растопчинъ и не подозрѣвалъ глубокаго, серьезнаго смысла своихъ словъ, онъ и не подозрѣвалъ, что вскрываетъ своими словами типичную особенность русской интеллигенціи: да, дѣйствительно, декабристы шли сами противъ себя, противъ своихъ сословныхъ и классовыхъ интересовъ; но именно это и показываетъ, что декабристы поднялись выше этихъ сословныхъ и классовыхъ интересовъ, что они вступили въ ряды внѣсословной и внѣклассовой русской интеллигенціи и съ беззавѣтной вѣрой въ идеалъ, съ энтузіазмомъ и со страстной любовью къ отечеству (по выраженію Пестеля) направились по тому пути, который уже былъ обозначенъ въ прошедшемъ ссылкой Радищева, шлиссельбургскимъ заточеніемъ Новикова, и которому предстояло быть отмѣченнымъ, послѣ неудачнаго декабрьскаго возстанія, пятью висѣлицами 13-го іюля 1826 г. и каторжными работами десятковъ декабристовъ.

Второй выводъ, къ которому мы пришли, заключается въ расчлененіи декабризма на три иногда параллельныхъ, а иногда и переплетающихся идейныхъ теченія. Высшей точки декабризма достигъ Пестель, синтезировавшій въ своемъ міровоззрѣніи и политическое и соціальное теченія декабризма и кромѣ того

сдѣлавшій гигантскій шагъ на полъ-столѣтія впередъ въ своемъ аграрномъ соціализмѣ. По тремъ изученнымъ нами теченіямъ размѣщаются всѣ декабристы, обладая притомъ каждый своими индивидуальными особенностями. Спѣшимъ подчеркнуть, что такое дѣленіе, конечно, не болѣе, какъ схема; но вѣдь схемой является всякая систематизація нашихъ знаній, и весь вопросъ въ томъ, умѣщается ли живая дѣйствительность на прокрустово ложе той или иной схемы? Мы полагаемъ, что указанное нами дѣленіе не насилуетъ дѣйствительности; внимательное изученіе декабризма вполнѣ естественно приводитъ къ раздѣленію его на три направленія, характеризующіяся формулами: примать политическаго надъ соціальнымъ, примать соціальнаго надъ политическимъ и—къ соціальному черезъ политическое. Послѣдней формулѣ суждено было одержать идейную побѣду надъ двумя первыми.

Въ заключеніе два слова о значеніи двадцатыхъ годовъ для дальнѣйшаго развитія русской общественной мысли. Значеніе это громадно и съ внутренней и съ внѣшней стороны. Что касается первой, то мы уже выше отмѣчали связь декабризма съ послѣдующими построеніями русской мысли; не меньшее значеніе имѣлъ и самый фактъ 14-го декабря. „Въ нравственномъ отношеніи вліяніе событія 14-го декабря было огромно,—говоритъ Герценъ:—пушки на исаакіевской площади разбудили цѣлое поколѣніе“,— и какъ разъ то поколѣніе, къ которому принадлежалъ Герценъ. Это прекрасно понимали и сами декабристы. „...Мы начнемъ,—сказалъ Рылѣевъ за день до возстанія;—я увѣренъ, что погибнемъ, но примѣръ останется“... „Предвижу, что не будетъ успѣха,—часто говорилъ Рылѣевъ задолго до возстанія,—но потрясеніе необходимо. Тактика революціи заключается въ одномъ словѣ: *дерзай*, и ежели это будетъ несчастливо,

мы своей неудачей научимъ другихъ"... (изъ воспоминаній Н. Бестужева). И дѣйствительно, декабристы погибли; но немного выиграло отъ этого правительство. Каховскій, стоя передъ висѣлицей, сказалъ вѣщія слова: „щуку поймали, а зубы остались"... И никакія усилія угнетающей системы оффиціальнаго мѣщанства не помогли Николаю вырвать у русской интеллигенціи ея идеалы и вытравить самую память о декабристахъ. „Отъ людей можно отдѣлаться, но отъ ихъ идей—нельзя!"—писалъ декабристъ Лунинъ изъ сибирской ссылки. И каковы бы ни были нити, связующія декабристовъ съ общимъ теченіемъ русской мысли, несомнѣнно во всякомъ случаѣ одно: въ декабристахъ мы имѣемъ первую попытку перехода отъ теорій къ практикѣ, отъ мечтаній къ дѣйствію; въ этомъ связь между 1825-мъ и 1905-мъ годами. Борьба за политическое освобожденіе для соціальнаго переустройства—въ этомъ связь декабризма со всѣмъ послѣдующимъ развитіемъ русской общественной мысли.
